ПИОНЕР



МАЙ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», 1958 год 5



Рисунок Н. Кирпичевой.

ВСЕГДА ГОТОВ!

ПИОНЕР

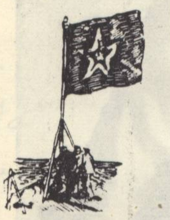
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ И ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

Год издания 35-й.



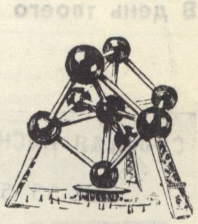
№ 5 1958 г.

В этом номере:

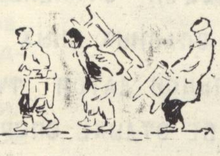








На обложке:
рисунок Е. Монина
«Сегодня Первое мая».



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

19 мая—день рождения пионерской организации



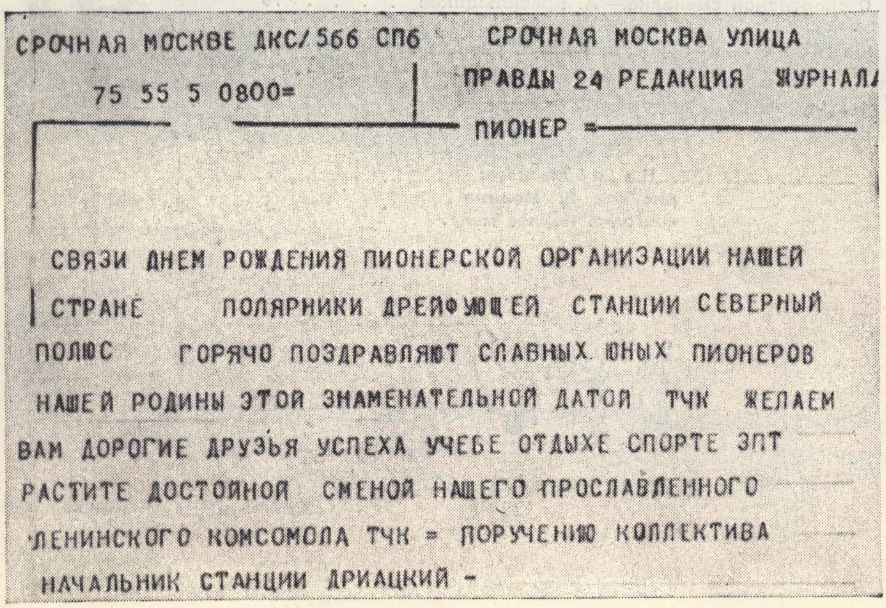
Старому юному пионеру

Прими, товарищ пионер,
Привет и поздравленья
Со всех концов СССР
В день твоего рожденья.

Моложе ты своей страны
Лишь на четыре года.
Ты защищал во дни войны
Судьбу и честь народа.

И в годы мирного труда
Ты был для всех примером,
Был юным ленинцем, всегда
И всюду — пионером.

С. Маршак

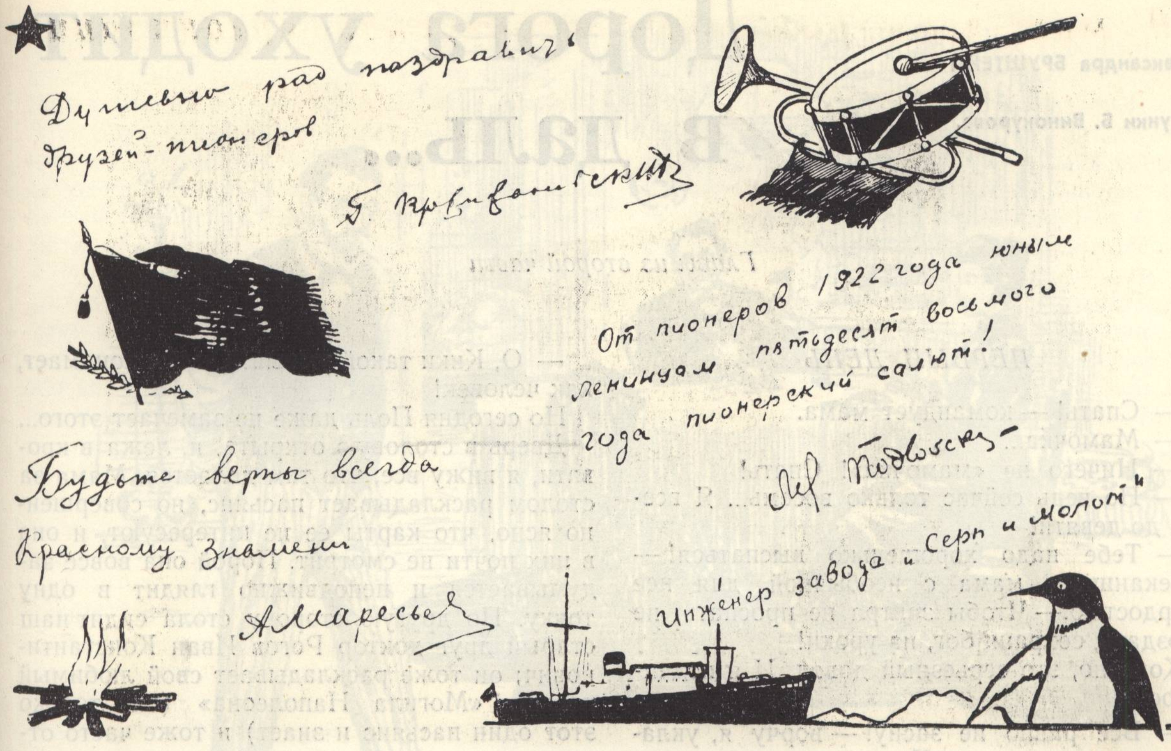


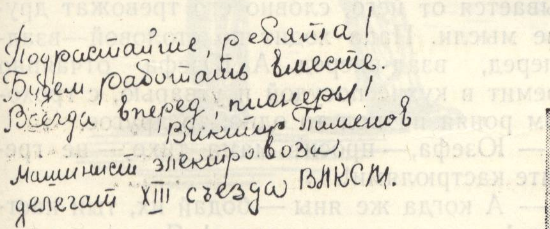
СРОЧНАЯ МОСКВЕ ДКС/566 СП6 75 55 5 0800=

СРОЧНАЯ МОСКВА УЛИЦА ПРАВДЫ 24 РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПИОНЕР =

СВЯЗИ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАШЕЙ СТРАНЕ ПОЛЯРНИКИ ДРЕЙФУЮЩЕЙ СТАНЦИИ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЮТ СЛАВНЫХ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ НАШЕЙ РОДИНЫ ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ТЧК ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ УСПЕХА УЧЕБЕ ОТДЫХЕ СПОРТЕ ЗПТ РАСТИТЕ ДОСТОЙНОЙ СМЕНОЙ НАШЕГО ПРОСЛАВЛЕННОГО ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ТЧК = ПОРУЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВА НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ ДРИАЦКИЙ -





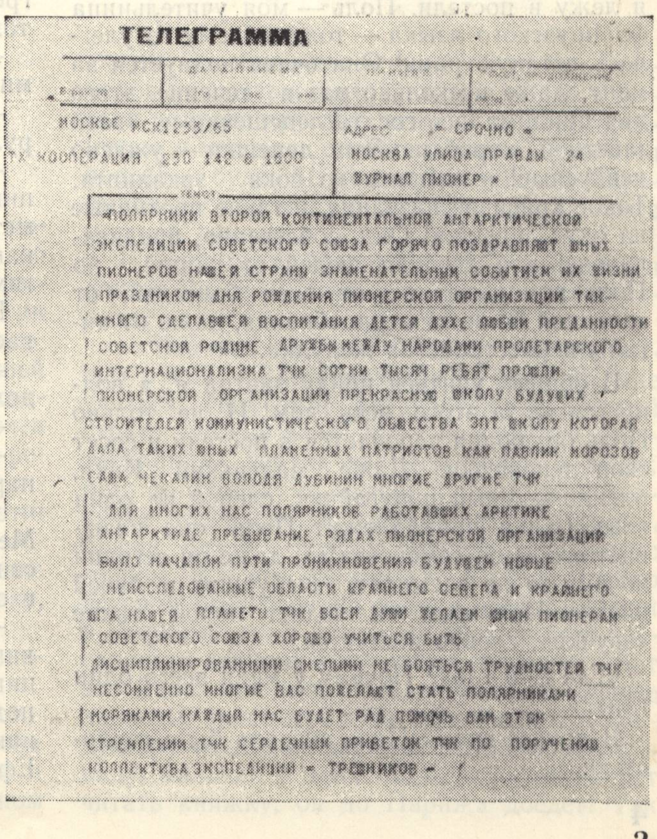


19 мая пионерская организация празднует свой день рождения.

На этих страницах тебя, пионер, поздравляют твои взрослые друзья — старейший коммунист, друг и соратник Ленина Г. М. Кржижановский и Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев, твой любимый поэт С. Я. Маршак и делегат XIII съезда комсомола машинист Виктор Пименов, один из первых пионеров Л. Н. Подвойский и мужественные полярные исследователи с обоих полюсов Земли.

Коммунисты и комсомольцы, твои отцы и братья, верят в тебя, пионер! Они знают, что ты с честью продолжишь их работу и всегда будешь верен великому Ленинскому знамени.

В борьбе за дело Коммунистической партии будь готов!



ТЕЛЕГРАММА

МОСКВЕ МСК1235/65
КООПЕРАЦИЯ 230 142 6 1600

АДРЕС „ СРОЧНО “
МОСКВА УЛИЦА ПРАВДЫ 24
ЖУРНАЛ ПИОНЕР “

„ПОЛЯРНИКИ ВТОРОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ НАШЕЙ СТРАНЫ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ ИХ ЖИЗНИ ПРАЗДНИКОМ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТАК-МНОГО СДЕЛАВШЕЙ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДУХЕ ЛЮБВИ ПРЕДАННОСТИ СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ НАРОДАМИ ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА ТЧК СОТНИ ТЫСЯЧ РЕБЯТ ПРОШЛИ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕКРАСНУЮ ШКОЛУ БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЗПТ ШКОЛУ КОТОРАЯ ДАЛА ТАКИХ ЮНЫХ ПЛАМЕННЫХ ПАТРИОТОВ КАК ПАВЛИК МОРОЗОВ САВА ЧЕКАЛИН ВОЛОДЯ ДУБИНИН МНОГИЕ ДРУГИЕ ТЧК ДЛЯ МНОГИХ НАС ПОЛЯРНИКОВ РАБОТАВШИХ АРКТИКЕ АНТАРКТИДЕ ПРЕБЫВАНИЕ РЯДАХ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫЛО НАЧАЛОМ ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ БУДУЩЕМ НОВЫЕ НЕИССЛЕДОВАННЫЕ ОБЛАСТИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И КРАЙНЕГО ЮГА НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ ТЧК ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ЮНЫМ ПИОНЕРАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХОРОШО УЧИТЬСЯ БЫТЬ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ СМЕЛЫМИ НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ ТЧК НЕСОМНЕННО МНОГИЕ ВАС ПОЖЕЛАЮТ СТАТЬ ПОЛЯРНИКАМИ МОРЯКАМИ КАЖДЫЙ НАС БУДЕТ РАД ПОМОЧЬ ВАМ ЭТОМ СТРЕМЛЕНИИ ТЧК СЕРДЕЧНЫМ ПРИВЕТОМ ТЧК ПО ПОРУЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВА ЭКСПЕДИЦИИ – ТРЕШНИКОВ –

Александра БРУШТЕЙН

Рисунки Б. Винокурова.

Дорога уходит в даль...

Главы из второй части

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

— Спать! — командует мама.

— Мамочка...

— Ничего не «мамочка»! Спать!

— Но ведь сейчас только восемь... Я всегда до девяти!

— Тебе надо хорошенько выспаться! — отчеканивает мама с необычной для нее твердостью.— Чтобы завтра не проспать, не опоздать, сохрани бог, на уроки!

Конечно, это серьезный довод. И я подчиняюсь.

— Все равно не засну! — ворчу я, укладываясь в постель.— Как я могу заснуть в восемь часов! Цыпленок я, что ли?

С этой мыслью — «все равно не засну!» — я лежу в постели. Поль — моя учительница французского языка — тоже почему-то улеглась в такую рань! Она очень волнуется за меня, даже несколько раз в течение этого дня принималась сосать лепешечки из своей заветной коробки. Эти лепешки — ужасно невкусные! — сделаны из сока эвкалипта. Такое красивое название, и такие противные на вкус лепешки! Они, собственно, предназначены для лечения людей от кашля, но Поль принимает их от всех болезней: от головной боли, от сердцебиения, даже от ангины и расстройства желудка.

В общем, учиться пойду завтра я, а волнуется из-за этого весь дом! И не только Поль без конца ворочается в постели и сосет свои лепешечки. Даже маленький Кики, блекло-зеленый попугайчик, слепой на один глаз (Кики принадлежит Поль, она называет его «моя семейства!»), даже он сегодня почему-то не засыпает, шебуршит в своей клетке. При этом он издает порой тихие «звучки», словно жалуется:

«Где мой глаз? Почему у меня всего один глаз?»

В другое время Поль сказала бы с гордостью:

— О, Кики такой умный! Он все понимает, как человек!

Но сегодня Поль даже не замечает этого...

Дверь в столовую открыта, и, лежа в кровати, я вижу все, что там делается. Мама за столом раскладывает пасьянс, но совершенно ясно, что карты ее не интересуют, и она в них почти не смотрит. Порой она вовсе задумывается и неподвижно глядит в одну точку. По другую сторону стола сидит наш старый друг доктор Рогов Иван Константинович; он тоже раскладывает свой любимый пасьянс «Могила Наполеона» (он только этот один пасьянс и знает) и тоже часто отрывается от него, словно его тревожат другие мысли. Папа ходит по столовой — взад-вперед, взад-вперед. А Юзефа отчаянно гремит в кухне посудой и утварью, с грохотом роняя на пол то одно, то другое.

— Юзефа,— просит мама тихо,— не гремите кастрюлями!

— А когда же яны — бодай их, тыи каструли! — сами з рук рвутся! Як живые...

— Яков...— пробует мама остановить папино вышагивание по столовой.— Перестань метаться, как леопард в клетке! Вспомни, как ты когда-то сам в первый раз пошел в гимназию!

Папа по своему обыкновению присвистывает.

— Фью-ю-ю! Это же было совсем другое дело!

— Почему «другое»?

— Потому что я был пятнадцатилетний парень, почти взрослый. Моя мать хотела, чтобы я непременно стал ученым раввином... Меня учили всякой религиозной премудрости, а я мечтал учиться светским наукам, и в особенности математике и медицине!

— Вот! — радуется Иван Константинович.— В рифму со мной! Я в Военно-медицинскую академию из духовной семинарии подался. Меня папаша с мамашей в священники прочили!.. Как же ты все-таки, Яков Ефимович, в гимназию попал?



Дверь в столовую открыта, и, лежа в кровати, я вижу все, что там делается.

Не попал бы! — говорит папа.— Не попал бы, если бы не мой отец! Он был со мной заодно. Он нанял мне учителя — гимназиста последнего класса, и тот за три рубля в месяц занимался со мной потихоньку от моей матери у нас на чердаке. Мышей там было! Как-то мыши изгрызли латинскую и греческую грамматику, и я, почти взрослый, заплакал, балда, навзрыд. Как ребенок!.. Отец ничего не сказал, только вздохнул — это было бедствие, катастрофа! — и стал шарить по карманам. Выложил всю обнаруженную наличность — шестьдесят две копейки! — и дал мне: «На, сбегай в лавку, купи новые книжки...»

Лежа в постели, не подавая голоса, я внимательно слушаю папин рассказ.

— Ну, в общем,— рассказывает папа в столовой,— я благополучно одолел меньше чем за три года курс пяти классов гимназии и выдержал экзамен экстерном при Учебном округе. Это было почти чудо, никто там экзаменов не выдерживал, всех резали. Но я все-таки получил круглые пятерки по всем предметам, и мне дали свидетельство. С этим отец поехал — будто бы по делу! — в город Мариамполь, и там меня приняли в шестой класс местной гимназии...

— Почему в Мариамполе? — удивляется доктор Рогов.— Почему не здесь, в своем городе?

— Что вы, что вы! — Папа, смеясь, машет рукой.— Здесь мамаша не дала бы мне учиться! Нет, отец разработал хи-и-итрый стратегический план! Мы с ним тайком перетаскали на чердак все мои книги и вещи; отец потихоньку от матери купил мне на толкучке подержанную гимназическую форму, брюки, блузу с поясом, шинель, фуражку с гербом. Все это мы связали в узел. Поздно вечером отец посадил меня в поезд, идущий в Мариамполь. В вагоне он обошел всех пассажиров, всякому поклонился и сказал: «Вот это Яков, мой сын, он едет учиться. Будьте ласковы, присмотрите за мальчиком». А кондуктору отец дал двугривенный: «Имейте в виду, мальчик у меня такой: если он начнет читать книжку, он до Парижа доедет! Так

уж вы, пожалуйста, высадите его раньше: в Мариамполе!»

— Ну, и как ты доехал? — интересуется Иван Константинович.

— Ох, не говорите! Я ведь в первый раз в жизни ехал в вагоне... Меня тошнило, как на океанском пароходе!

— А в Мариамполе как ты устроился?

— Роскошно! Я высадился со своим узелком и с семью рублями, которые мне дал отец. Нашел «ученическую квартиру», где за пять рублей в месяц давали угол и стол таким бессемейным гимназистам, как я. И зажил почти как принц!

— Почему только «почти»? — не выдержав, подаю я голос.

— Смотри ты, она не спит!

— Ты только скажи мне, почему только «почти как принц», папа, и я сию минуту усну!

— Да потому, что ведь принцы, насколько мне известно, не учатся в мариампольской гимназии,— по крайней мере, при мне там не было среди учеников ни одного принца. Ну, и, конечно, принцы вряд ли живут на «ученических квартирах», не едят одну только картошку с селедкой... В общем, я думаю, что принцам учение дается легче, чем нашему брату.

— А учился ты хорошо, папа?

— Да как же иначе? — удивляется папа.— Я поступил прямо в шестой класс, проучился три года и кончил гимназию с медалью. Без медали меня не приняли бы в университет.

— Молодец! — хвалю я.

— Не я молодец, а мой отец: он моей головой пробил дверь к учению всем моим шести младшим братьям.

Но тут, вдруг спохватившись, папа сердито кричит мне:

— Да будешь ты наконец спать или нет? — и притворяет дверь из столовой.

Я благоразумно умолкаю.

«Все равно мне так рано не уснуть!» — продолжаю я думать. Кровать моя стоит у окна, и я вижу спокойное, глубокое ночное небо. Луна висит в небе, как золотая дыня. На ней видны глаза, нос, рот... Конечно, я знаю, что это горы на далекой луне, но до чего это похоже на человеческое лицо! Бывают вечера, когда луна смотрит на землю весело, добродушно — вот-вот улыбнется и подмигнет! А иногда у луны лицо недовольное и обиженно поджаты губы...

Сегодня луна очень ласковая и доброжелательная. На нее просто приятно глядеть. «Конечно... я... так рано... не усну...» — продолжает вертеться у меня в голове. Луна закрывается легким облачком, как шарфиком. Потом из глаз луны выкатываются крупные слезы, похожие на перевернутые вниз головой запятые... Потом луны уже не видно, а идет дождик, такой тепленький, будто небо плачет супом! Капли этого дождя-супа падают на мое лицо, скатываются ко мне за ухо, за ворот моей ночной рубашки и пахнут чем-то очень знакомым и уютным... Кухней, плитой, свежемолотым кофе... Юзефой!

Это и в самом деле Юзефа, моя старая няня. Стоя на коленях около кровати, она чуть-чуть касается меня рукой, загрубелой от работы, шершавой от стирки. При этом она еле слышно шепчет на том языке, на котором молятся в костелах и который сама Юзефа не без гордости называет «латыньским». Впрочем, латинских слов Юзефа знает только два: «патер ностер» («отче наш»),— а за этим следует перечисление Христа, всех католических богородиц и святых.

— Патер ностер... Езус Христус... Матка боска Остробрамска, Ченстоховска...— бормочет Юзефа, продолжая кропить меня слезами.

— Юзенька,— бормочу я сквозь сон,— как ты мокро плачешь...

И снова закрываю глаза, снова меня качает на сонной волне. Но тут вдруг будто кто крикнул мне в ухо: «Юзефа плачет!» Я раскрываю глаза, мне больше не хочется спать.

— Юзенька! Тебя кто-нибудь обижает?

— Никто мене не забижает. Тебя, шурпочку мою, не забидел бы хто там у кляссе... Смотри, будут бить, не давайся!

Никакими уверениями невозможно поколебать Юзефину убежденность в том, что в институте («у кляссе») детей бьют. Бьют и учат, учат и бьют.

Я начинаю повторять все давно уже приведенные доводы: теперь в школах не бьют; если бы там били, разве папа и мама отдали бы меня туда? И т. д. Но вдруг я замолкаю на полуслове, на меня нападает страх: опоздаю! Вон как светло — уже утро,— опоздаю на первый урок в институт!

Срываюсь в ужасе с кровати.

— Который час?

Нет, не опоздаю: сейчас только семь часов утра. Уроки начинаются в девять с половиной часов, а ходу от нашего дома до института всего минут десять.

Все-таки, на всякий случай, я начинаю одеваться. Так поспешно, что все валится у меня из рук.

Скорее, скорее, вот уже десять минут восьмого!

Когда человек торопится, вещи, словно нарочно, стараются мешать ему! Где моя левая туфля? Куда она убежала? Ведь это же безобразие: у человека две ноги — и почему-то только одна туфля! Я с негодованием повторяю по адресу своих туфель то, что постоянно твердит наш друг, старый доктор Иван Константинович Рогов, когда он на что-нибудь или кого-нибудь рассердится:

— Это — хамство, милостивые государи! Да-с!

К счастью, одна «милостивая государыня» — левая туфля моя — отыскалась: она почему-то спряталась за ножку кровати. С форменным коричневым платьем новая беда: оно почему-то застегивается на спине! Ну что за глупая выдумка портнихи! И, по-моему, когда я примеряла платье, застежки были сделаны по-людски, спереди...

— Да ты надела платье задом наперед! — показывает мама.

— А то добре! — серьезно уверяет Юзефа.— Наизнанку надеть платье плохо. А задом наперед — добрый знак!

Все мои вещи еще с вечера уложены в большой кожаный ранец с мохнатой ворсистой крышкой из жеребячьей шкуры.

Мне, конечно, немного досадно, почему у меня ранец, как у мальчишек, а не изящная сумка для книг и тетрадок, как у большинства девочек-учениц, встречающихся на улице. Но ранец — это папина причуда, докторская. Сумку-де надо носить на одной руке, а от этого у девочек позвоночник искривляется на ту именно сторону... Конечно, если папа говорит, так это, наверное, правда и позвоночник в самом деле искривляется. Но все-таки мне хотелось бы шагать в школу с легонькой сумкой, висящей на руке! И еще бы я хотела — это мое давнишнее затаенное мечтание! — чтоб по спине у меня спускалась длинная коса... Ох, косой мне все еще не приходится хвастать! На затылке у меня малютка-косюля с бантиком, все равно как если бы сплели в косу весенние стебельки травы, только что пробившейся из-под земли!

Зато в ранце у меня множество сокровищ, новеньких, еще не опробованных. Книжки, тетрадки с вложенными в них четырехугольниками промокашек — от всего этого вкусно пахнет клеем. Карандаши, перья, резинка — одна половинка ее светлая, другая темная: под карандаш и под чернила. Ручка, на которую насажена петушиная головка. Когда пишешь, то головка эта качается, словно приговаривает: «Так, так, так... Пиши, пиши, пиши... Очень, очень, очень прекрасно!» Пенал, подарок Поль,— мечта, а не пенал! На деревянной крышке его выжжено изображение роскошного зайца. Выжигали, видимо, не очень большие искусники: рот и нос зайца слились воедино; похоже, что заяц с аппетитом сосет свой собственный нос, а удивленные раскосые заячьи глаза будто говорят: «Смотри ты! Обыкновенный нос, а как вкусно!»

Только одной вещи нет у меня в ранце (а ее-то мне как раз ужасно хотелось бы иметь!) — перочинного ножа! Когда обсуждался вопрос о перочинном ноже, Поль стояла за то, что ножик — полезная вещь и надо купить мне ножик. Но Юзефа начала так плакать, так божиться, так кричать «по-латыньски»: «Езус Марья, матка боска Остробрамска, Ченстоховска»,— что мама заколебалась.

— Зачем ребенку ножик? — возмущалась Юзефа.— Что яна, разбойник или что? Да яна ж маленькая; дайте ей ножик, яна домой без пальцев придет!

Так ножа и не купили.

Папа смотрит на часы.

— Без четверти девять... Пора!

И одновременным движением мама берется за свою шляпку, а Юзефа набрасывает на голову платок.

— Куда? — прищуривается папа.— Куда вы обе собрались? Вы хотите проводить ее в институт? «За ручку», да?

— Так яна ж маленькая...— жалобно возражает Юзефа.

— Она уже не маленькая! — твердо отрезает папа.— Она идет учиться.

— Яков...— нерешительно начинает мама.

Но папа властно перебивает ее:

— Она пойдет одна. И все.

— Но она может попасть под извозчика...

— Непременно! — гремит папа.— Если она привыкнет, чтобы ее водили «за ручку», она непременно попадет под извозчика в первый же раз, как очутится на улице одна!

Юзефа с сердцем срывает с головы платок и убегает на кухню. Там она, я знаю, плюнет в сердцах и заплачет:

— Нехай дитя зарежется... нехай яво звозчик задавит, им что!

Но мне папины слова очень нравятся!

— Ты сегодня пойдешь своей дорогой... Понимаешь, Пуговка? И с тобой не будет ни мамы, ни меня, ни Юзефы, ни Поль — никого. Ты сама будешь отвечать за все, что делаешь. И не держаться за мамину юбку или за Юзефин фартук... Сама надевай ранец!

Не помогайте ей! — сердится папа.— Ну, вот, молодец! А теперь попрощайся со всеми и ступай в добрый час...

Все провожают меня в переднюю. Все, кроме Юзефы, которая заперлась на ключ в кухне и, наверное, горько плачет.

Я через дверь прошу ее выйти, но она не откликается.

У мамы полные глаза слез. Поль крепко жмет мне руку.

— Бон шанс! (Счастливо!) — говорит она мне тихо и на ухо добавляет: — Твой отец сказал тебе все, что я думаю...

Я берусь за ручку двери. Сейчас уйду.

— Стой, стой! — вдруг спохватывается папа и быстро уводит меня к себе в кабинет.— Помни: не врать! Никогда не врать!

И, погрозив перед моим носом своим разноцветным хирургическим пальцем, с которого не смываются пятна йода и ляписа, папа ласково подталкивает меня в переднюю.

— Вещи-и-и! — раздается вдруг из кухни рыдающий голос Юзефы.— Вещи беречи надо: за них деньги плачены, не черепья!

Выйдя на улицу и задрав голову, я смотрю наверх, на наши окна. В них папа, мама, дедушка. В окне нашей комнаты Поль и Кики. В окне кухни распухшее от слез лицо Юзефы. Папа многозначительно поднимает свой пестрый указательный палец; это означает: «Помни: не врать!»

Я шагаю по улице. Не спеша, как взрослая. На витрины магазинов не гляжу. Даже на окно кондитерской, где выставлен громадный фарфоровый лебедь; вся его спина густо нафаршированa множеством крупных конфет в пестрых, бахромчатых бумажках, совсем как панталонцы у куриц-брамапуток!

Однако, пройдя мимо кондитерской, я вдруг останавливаюсь. Я чувствую сильнейшее желание сделать ма-а-аленький крючок, чтобы повидать одного человека... Сейчас за углом находится чайный магазин известной фирмы «К. и С. Попов с сыновьями». В этом магазине у меня есть друг, и мне совершенно необходимо показаться ему во всем великолепии коричневого форменного платья, ученического фартука, моего нового ранца с книжками — ну, словом, во всем блеске. Этот друг мой — китаец, настоящий живой китаец Ван Ди-бо. Его привезли в прошлом году специально для рекламы, чтобы люди покупали чай и кофе только в этом магазине. Покупатели в самом деле повалили валом. Всякий покупал хоть осьмушку чаю или кофе, хоть полфунта сахару и при этом глазел на живого китайца. Так и стоит с тех пор Ван Ди-бо в магазине с утра до вечера, рослый, статный, в вышитом синем китайском халате. Голова у него обрита наголо, только на затылке оставлены волосы, заплетенные в длинную черную косу ниже поясницы. Ох, мне бы такую!

Ван Ди-бо немножко говорит по-русски. Произносит он слова мягко; голос у него добрый, ласковый. И на всех покупателей, входящих в магазин, Ван Ди-бо смотрит умными раскосыми глазами и всем улыбается одинаковой казенно-приветливой улыбкой. Ведь он для того и нанят, чтобы привлекать покупателей!

Так же смотрел всегда Ван Ди-бо и на меня, когда я приходила с мамой в магазин. Ван Ди-бо кланялся, когда мы входили и выходили, и ласково улыбался нам, как всем покупателям.

Но однажды мама обратила внимание на то, что у Ван Ди-бо очень грустный, совсем больной вид. Он улыбается, как всегда, но улыбка вымученная, запавшие глаза смотрят страдальчески, лицо в испарине. Мама спросила Ван Ди-бо, не болен ли он. Опасливо оглядываясь на управляющего магазином, Ван Ди-бо стал торопливо бормотать:

— Холёсо... Сё холёсо, мадама...

Был уже вечер, торговый день кончался.

Управляющий надел пальто, шляпу и ушел из магазина. Тогда Ван Ди-бо оживился: он, видимо, боялся управляющего. А продавец сказал маме, что у Ван Ди-бо на руке «гугля аграмадная, от какая!» Сам Ван Ди-бо мялся, но показать маме свою больную руку стеснялся.

— От-т дурень! — сердился на него продавец.— Откусит барыня твою лапу, что-ли?

Тогда мама предложила, чтобы Ван Ди-бо показал больную руку папе. Но... Тут встал новый вопрос: каким образом попадет Ван Ди-бо к нам домой? Ему строжайше воспрещено не только выходить на улицу, но даже стоять на пороге магазина. Управляющий ежедневно повторяет это Ван Ди-бо:

— Зачем тебя, китайсу косого, сюды привезли, а? Чтоб люди на тебя задарма шары пучили? Не-е-ет! Желаете живого китайсу видеть, пожалуйте-с! В магазин-с! Вошли, купили чего ни то, вот он вам, живой китайса, смотрите в свое удовольствие!

Так и живет Ван Ди-бо в темном чулане

позади магазина и никогда не выходит на улицу. Если он сейчас пойдет вместе с нами, немедленно сбегутся сотни людей! И управляющий магазином завтра же узнает о запретном путешествии Ван Ди-бо по улицам города!

Что же делать?

Самое умное придумывает жена продавца, пришедшая за своим мужем: пусть Ван Ди-бо наденет ее широкое, длинное пальто.

— А коса-то? Куда косу девать?

— А под мой платок! — спокойно предлагает жена продавца.

Так и делаем. Ван Ди-бо в пальто и повязанный платком совершенно похож на женщину, только очень огромную ростом!

— Мадама...— говорит он про самого себя.

Продавец и его жена остаются в магазине дожидаться возвращения Ван Ди-бо, а он уходит с нами.

Все проходит благополучно. Только у самого нашего подъезда Ван Ди-бо спотыкается, платок соскальзывает с его головы, и тяжелая черная коса змеей сползает на его спину.

— Саляпа...— испуганно вздыхает Ван Ди-бо.— Саляпа упаль... (Шляпа упала.)

Мы быстро входим в наш подъезд.

У Ван Ди-бо оказалась на руке флегмона, глубокая, уже назревшая. Он терпел больше недели и молчал: боялся управляющего. Папа вскрыл ему флегмону, выпустил много гноя, перевязал руку. Ван Ди-бо сразу повеселел и без конца кланялся.

— Пасиба, докта! Пасиба!

С того случая у меня с Ван Ди-бо дружба. Когда я прихожу в магазин, он меня радостно приветствует:

— Маленьки докта пилисол!

Ну разве можно не показаться такому другу в торжественный день моей жизни? Нет. Пойду. На одну минуточку!

Подхожу к чайному магазину. На мое счастье, управляющего нет, и Ван Ди-бо, примостившись бочком, опасливо выглядывает на улицу, как белка из дупла, готовый юркнуть и скрыться.

Увидев меня, Ван Ди-бо радостно приветствует.

— Ван Ди-бо...— говорю я.— Видите?

И поворачиваюсь вокруг себя, чтобы Ван Ди-бо мог разглядеть меня со всех сторон.

Ван Ди-бо с восхищением цокает языком.

— Ой, каласива, каласива! (Красиво!)

Но в эту минуту Ван Ди-бо внезапно ныряет в полумрак магазина! Наверное, он издали заметил приближение грозного управляющего.

Я подхожу к институту. Останавливаюсь на противоположном тротуаре и пристально разглядываю это длинное, скучное здание. Непроницаемо и отчужденно смотрят на мир окна, закрашенные до половины белой масляной краской. Ни одной раскрытой форточки, ни одного выставленного на солнце цветочного горшка, ни одного выглядывающего из окна человеческого лица... В подъезде глубокая, темная ниша, похожая на запавший рот древней бабы-яги. И массивная входная дверь враждебно скалится медным кольцом, как последним уцелевшим зубом.

Сейчас перейду улицу. Сейчас войду в подъезд института...

— Здравствуй...— слышу я вдруг негромкий голос.— Ты меня узнаешь?

Ну, конечно, я узнаю ее! Это Фейгель, та девочка, которая экзаменовалась вместе со мной. Я радостно смотрю на Фейгель. Вот я, значит, и не одна!

— Почему ты здесь стоишь? — спрашивает она.

— А ты?

— Нет, я хотела спросить, почему ты не входишь в институт? — поправляется Фейгель.

— А ты? — отвечаю я и смотрю на нее с улыбкой.

Мы обе отлично знаем, что мешает нам войти в подъезд института: мы робеем, нам даже немного страшно... и одиноко... все близкие нам люди остались дома. Оттого мы так обрадовались друг другу, что сперва заулыбались, а потом начинаем смеяться. Прохожие оглядываются на нас: стоят две девочки в форменных коричневых платьях, крепко держась за руки, и заливаются смехом, глядя друг другу в глаза!

— А как тебя зовут?

— Маней. А тебя — я знаю! Сашей... Ну, пойдем, скоро начнутся уроки!

Мы переходим улицу. У двери с медным кольцом снова останавливаемся.

— Постоим одну секундочку, хорошо?

Мане, видно, тоже страшно взяться за медное кольцо.

— Др-р-р! — барабанит вдруг дробь по моему ранцу.

Оборачиваюсь — позади меня стоит толстенькая девочка в черном чепчике, скрывающем всю ее голову. Девочка что-то с аппетитом жует и весело смеется.

— Это я! Я по твоему горбу барабаню! А почему у тебя ранец? Разве ты солдат или гимназист? — спрашивает она.

Смеяться мне не хочется. Сердиться или обижаться тоже не хочется. Поэтому я просто объясняю.

Если носить книги в ранце, за плечами спина всегда будет прямая.

— Глупости какие! — продолжает смеяться девочка.

— Вовсе не глупости! Это мой папа говорит.

— А откуда он знает, твой папа?

— А оттуда, что он доктор.

Толстенькая девочка в черном чепчике миролюбиво уступает:

— Ну, если доктор, тогда, может, и вправду так. Ладно, носи ранец, я разрешаю!..

Она делает величественный королевский жест. Говорит она чуть шепеляво — не «разрешаю», а «разрешяю» — и губы складывает трубочкой вверх к носу. Все это у нее выходит так добродушно-мило, что мы с Маней просто очарованы ею.

— А мой папа, знаешь, кто? — продолжает она.— Норейко!! Сам Норейко!.. Знаешь ресторан на Большой улице?

— Нет, я не знаю...

Толстушка в черном чепчике смотрит на меня с сожалением.

— Не знаешь ресторан Норейко? Не знаешь? Вот смешно (она произносит «смишьно»)! Никогда такой дурноватой девочки не видела! У моего папы самый большой ресторан в городе. А я папина дочка, Меля Норейко. Меля — значит Мелания. А кто твой папа? — спрашивает она у Мани.

— Мой папа — учитель... — отвечает Маня.



— Ван Ди-бо,— говорю я.— Видите?

— Ну, вот что, пичужки (она, по своему обыкновению, вытягивает губы трубочкой к носу, и у нее выходит «пичюшьки»), в каком классе вы будете учиться? — И она деловито засовывает за щеку конфетку.

— В первом! — отвечаем мы в один голос.

— Ну, тогда ступайте за мной, я тоже в первом, и делайте тють-в-тють все, что я!

Толстенькая Меля Норейко бесстрашно берется за медное кольцо входной двери и широко распахивает ее перед нами.

— Аллэ! Да что вы стоите, как глупые куклы? Входите!

И вот мы в большой темноватой швейцарской. Куда ни посмотришь, вешалки для верхнего платья. Меля уверенно ведет нас к нашей вешалке: «1 кл. 2 отд.», то есть первый класс, второе отделение.

Между вешалками снуют женщины в полосатых холщовых платьях. Они помогают девочкам-ученицам раздеваться.

— Это полосатки! — объясняет нам Меля Норейко и, завидев издали идущую по швейцарской пожилую сухопарую женщину в синем платье учительницы или классной дамы, Меля быстро, едва не поперхнувшись, проглатывает очередную конфетку и шепчет нам: — А это синявка! Ее «Дрыгалкой» зовут.

Сухопарая «синявка», у которой такая странная, смешная кличка, уже стоит около нас и, укоризненно качая маленькой головкой, говорит Меле:

— Ну, конечно, это Норейко! Удивительно шумная особа! Отчего вы не раздеваетесь, Норейко? Вы не знаете правила: «Не задерживаться в швейцарской! Раздеться или одеться и уходить? Наверх или на улицу»?

— Я, Евгения Ивановна, новеньким помогаю...

Оказывается, у Дрыгалки есть и человеческое имя: Евгения Ивановна.

Дрыгалка грозит Меле тощеньким пальчиком:

— Ну, ну!.. Смотрите!.. — и идет прочь от нас.

Мы смотрим ей вслед... Дрыгалка — это очень меткая кличка. Она движется какой-то подпрыгивающей, подрыгивающей походочкой; плечи ее при этом вздрагивают; локти, прижатые к туловищу, дергаются; головка тряско дрожит...

«Какая неприятная...» — думается мне.

Меля ведет нас по узорной чугунной лестнице наверх, во второй этаж. На стыке двух длиннейших коридоров стоит очень большой письменный стол.

— Директорский стол! — шепчет нам Меля Норейко и показывает глазами на человека, сидящего за столом.

Человек этот одет в синий вицмундир учебного ведомства; из-под бархатного лацкана вицмундира выглядывает половина большой звезды, сверкающей серебром и эмалью. На шее под подбородком у него орден. Щеки у директора какие-то неправдоподобно красные, осыпаны целыми выводками желтых прыщиков, как грибами-поганками. Нос у него тоже красный, даже красно-сизый. Все остальное лицо нездорово-желтого цвета, измятое, как квелая, трухлявая редиска.

Меля Норейко старается как можно быстрее и беззвучнее миновать директорский стол и проскользнуть в коридор направо, увлекая за собой и меня с Маней Фейгель.

— Макайте! — испуганно шепчет нам Меля.— Да макайте же!

Мы не понимаем, чего она от нас хочет. Чтоб мы махали? Кому махать, директору? Чем махать?

Не переставая шипеть на нас: «Макайте!»,— Меля опускается в глубокий реверанс. Тогда и мы, как умеем, делаем реверанс (у нас он получается очень коряво!). Меля быстро увлекает нас в небольшой боковой коридорчик.

Там она обрушивается на нас:

— Я вам говорю «макайте», а вы стоите, как глупые куклы!

— А кому махать?

— Да не «махать»! Господи, твоя воля, никогда таких дурноватых детей не видала! Не «махать», а «макать»! Свечкой макать, соображаете?

Вероятно, у нас очень растерянные лица! Глядя на нас, Меля начинает хохотать. Потом она объясняет: макать свечкой — значит делать реверанс при встрече с начальством.

— Кого ни увидите в коридоре — учителя, синявку,— макайте свечкой вот так! Директора встретите или начальницу, макайте глубже... Видели, как я сейчас директору макнула? Ну, теперь поняли, пичюшьки?

— А откуда ты все правила знаешь? — спрашиваю я.

— А оттуда, что я второгодница! — выпаливает она с такой гордостью, как если бы она говорила: «Я академик!»

Мы с Маней смущенно переглядываемся. По нашим понятиям, быть второгодницей — это ужасно, это позор!

— Дурочки! — смеется Меля.— Ну, вот, совсем глупышки! Вы думаете, меня оставили на второй год потому, что я плохо училась? Ничь-чего подобного! Вот смотрите...

Меля рывком стаскивает с головы черный чепчик с черными кружевцами. Мы видим ее голову, остриженную наголо.

— У меня в прошлом гэду сперва корь была, потом скарлатина. Три месяца я больная лежала... Ну, потом, конечно, уже мне не нагнать было, что пропустила...

В эту минуту начинается пронзительный звон. Оглушительный, непрекращающийся,

несмолкающий, он заполняет все здание! Это звонит служитель Степан, мужчина с могучими усами, мирно лежащими на пышных и коротких баках, похожих на две котлетки.

— Звонок! — кричит Меля.— Скорее в класс!

Мы добежали до своего класса и попадаем в царство Дрыгалки! Наша классная дама — Дрыгалка.

Мне на секунду становится грустно...

Ну, подождем, посмотрим, может быть, и Дрыгалка ничего.

— Дети! — говорит Дрыгалка.— Встаньте, дети! Перед учением надо помолиться...

Горбова — высоконькая, чернявая — выходит из-за парты, становится впереди всего класса. Обратившись лицом к иконе, Горбова осеняет себя крестом и читает молитву.

Молитва кончена, сейчас начнется урок.

— Дети! — говорит нам Дрыгалка.— Достаньте свои дневники.

Мы выполняем приказание, но делаем это с сильнейшим стуком и грохотом.

— Дети! — стонет Дрыгалка с укором.— Вы должны помнить, что вы приличные, воспитанные девочки, а не какие-нибудь уличные оборванки. Каждую вещь надо брать в руки осторожно, класть на парту бесшумно... Ну, положите дневники обратно в сумки и выньте их снова — осторожно и тихо.

Это «осторожное и тихое» доставание дневников мы повторяем несколько раз, до тех пор, пока оно наконец получается относительно осторожным и приблизительно тихим.

— Теперь запишите в дневниках названия сегодняшних уроков, я буду диктовать... Первый урок свободный. Потом рисование. Арифметика. Танцевание. И французский язык. Записали? Вот вы, отвечайте! — обращается Дрыгалка к красивой рослой девочке с длинной темной косой.— Встаньте в своей парте, откиньте бесшумно пюпитр и отвечайте.

Девочка послушно встает и совершенно неожиданно громыхает гулким басом, как из пустой бочки:

— Записали!

Дрыгалка печально качает головой.

— Я вас спросила: «Записали ли вы уроки?» А вы рявкаете: «Записали!» — Дрыгалка очень похоже передразнила басовитый голос девочки.— Надо отвечать полным ответом: «Евгения Ивановна, мы уроки записали»... Повторите!

Я немножко знаю эту девочку, мы иногда встречались с нею в сквере. Ей одиннадцать лет, но она высокая, крупная, как четырнадцатилетняя. У нее большие темные глаза, задумчивые и добрые, и сама она милая. Ее зовут Варя Забелина.

— Евгения Ивановна,— повторяет Варя своим оглушительным басом,— мы уроки записали...

— Вот теперь хорошо! — милостиво кивает Дрыгалка.— Надо бы только не так гулко... Бас — это не дамский голос.

Теперь Дрыгалка начинает отбирать нас по росту. И тут со мной случается первая неприятность: я не попадаю в одну пару ни с Маней, ни с Мелей! Это меня так огорчает, что я, не выдержав, говорю Дрыгалке грустно:

— А я хотела с Фейгель... Или с Норейко...

Дрыгалка бросается на меня, как хорек на цыпленка:

— Ах, вы хоте-е-ели? Скажите, пожалуйста! Так вот запомните: хотеть можно дома. А здесь надо слушаться. И больше ничего. Ни-че-го! — отчеканивает Дрыгалка, словно наступая ногой на мои ребячьи фантазии и испытывая от этого явное удовольствие.— Ни-че-го! Поняли вы мои слова?

Меля и Маня смотрят на меня с испугом. Меля наступает мне на ногу — это чтобы я молчала и не спорила. Маня незаметно гладит пальцы моей опущенной руки.

— Вы меня поняли?

Дрыгалка стоит передо мной, прямая, вытянувшаяся вверх, и правая рука ее, вся усыпанная коричневыми веснушками, пестрая, как индюшечье яйцо, прижимает к груди колечко от часовой цепочки. На миг в памяти всплывает воспоминание, как я когда-то забралась под балкон дачи и увидела там издохшую лягушку. Лягушка, вся вытянувшись, лежала зеленой спинкой вниз и зеленовато-белым брюшком вверх. Правая верхняя лапка ее была прижата к грудке. Почему-то Дрыгалка с ее пестрой рукой, прижатой к груди, напоминает мне ту издохшую лягушку!

— Вы меня поняли? — настойчиво повторяет Дрыгалка.

Я молчу. Понимаю, что это молчание выглядит, как упрямство, как каприз, но не могу выжать из себя ни слова.

В классе очень тихо. Все девочки глядят на нас.

Несколько секунд мы с Дрыгалкой смотрим друг на друга, глаза в глаза. Это поединок... Проходит еще секунда, и я опускаю глаза.

— Поняли? — в голосе Дрыгалки звучит торжество.

Чуть слышно, почти шепотом я отвечаю:

— Поняла.

— Полным ответом! Полным ответом!

И я бормочу «полным ответом»:

— Евгения Ивановна, я поняла...

Дрыгалка уже отошла от меня. Она продолжает подбирать девочек в пары по росту, но при этом она все еще говорит с величайшим презрением про меня:

— Она хоте-е-ела! Скажите, пожалуйста! Она хоте-е-ела!

Меля быстро-быстро шепчет мне:

— Что ты с Дрыгой в разговоры лезешь, ну какая, право, дурноватая, ей-богу... Смеешься-шься, шьто ли?

И быстро ускользает в сторону от меня.

Со мной в пару Дрыгалка ставит девочку; глаз ее не видно, они опущены вниз.

— Вот ваша пара!

Я так огорчена, что даже не смотрю на свою «пару». Не хочу ее видеть! При перекличке Дрыгалка назвала ее: «Кандаурова Екатерина». Вот все, что я о ней знаю. Какая-то она растрепанная, всклокоченная...

Издали я обмениваюсь взглядом с Маней и Мелей. Черные глаза Мани печальны, она тоже хотела быть моей «парой». Меля делает мне свирепое лицо, я понимаю: это чтобы я не «лезла в разговоры», не спорила с Дрыгалкой.

Потом Дрыгалка учит нас вставать в парте и кланяться при входе преподавателей. Плавно! Тихо! Бесшумно приподнимать пюпитр, не выпуская его из рук, чтоб он не стукнул о парту, затем снова садиться, все так же тихо и плавно.

— Встаньте! Тихо-плавно... Садитесь! Тихо-плавно...— командует Дрыгалка, и мы без конца встаем и садимся.

К тому времени, как урок кончается, мы уже умеем отвечать полным ответом, вставать, здороваться с «господами преподавателями» и плавно опускаться на место, не стуча пюпитрами, не шаркая ногами.

Во время первой перемены мы сходимся вместе: Меля, Маня и я. Взявшись под руки, мы ходим по коридорам. Меля ест булочку с копченой колбасой и поучает нас, «несмышленышей»:

— Не надо киснуть, пичюшьки... Конешьно, Дрыга, она ж-жяба, ничего не поделаешь. Но ведь здесь и другие есть!

«Ох,— думается мне,— есть ли они здесь, эти «другие»?»

Но на следующем уроке — рисования — мы с радостью видим одного из этих «других».

В класс входит очень высокий, очень прямой старик, мы смотрим на него радостными глазами уже потому, что он напоминает нам что-то очень веселое и желанное. На кого он похож? Ох, знаю, на деда-мороза! Если бы деда-мороза одеть в синий учительский вицмундир, вот и был бы наш учитель рисования! Только у деда-мороза нос картошкой, красный от декабрьского холода, а у нашего учителя рисования прекрасная голова, красиво откинутая назад, с красивым прямым носом и зоркими, орлиными глазами. Волосы и борода у учителя седые, белые.

— Здравствуйте, милые девицы! — говорит дед-мороз в учительском вицмундире.— Я ваш учитель рисования, Виктор Михайлович Резанов. Художник.

Он оглядывает нас молодыми, пронзительными глазами.

— Что же, милые девицы? Давайте рисовать! А?

Дрыгалка зачем-то вышла, и весь класс радостно грохает:

— Рисовать! Рисовать! Давайте!

Виктор Михайлович вызывает нас по очереди и «заказывает» каждой, что именно она должна сейчас нарисовать мелом на доске. Одна — корабль... Другая — кошку...

Корабль оказывается похожим на мотылька. Кошка — ее изобразила Варя Забелина — вообще ни на что не похожа. Но Виктор Михайлович смотрит на эти рисунки, склонив набок свою белоснежную седую голову, говорит поощрительно, даже негромко мурлычет, как большой белый кот:

— Ммм... Н-нич-чего... Ничего-о...

Я с ужасом думаю: «Ох, вот сейчас я осрамлюсь! Я ведь совсем не умею рисовать...»

— Н-ну-с...— приглашает меня жестом к доске Виктор Михайлович.— Нарисуйте-ка селедку!

Иду к доске, беру мел и начинаю работать. Рыбка под моим мелком смотрит в профиль, одним глазком. Очень старательно я вырисовываю на ее спине плавник, раздвоенный хвостик. Смотрю: чего-то еще недостает! Ах, да, этак рыбка выглядит плавающей, как и всякая другая, как окунь или ерш, а ведь Виктор Михайлович заказал мне именно «селедку»... Недолго думая, пририсовываю к ней селедочницу и вдобавок окружаю селедку целым рядом аккуратненьких колечек.

— Гм...— всматривается Виктор Михайлович.— Рыбка, да... А почему же это она едет в лодке?

— Это не лодка...— объясняю я.— Это селедочница... Селедка на селедочнице...

— Ишь ты! — удивляется Виктор Михайлович.— А что же это за колечки вокруг нее?

— Лук! — уточняю я.— И еще вот... сейчас.

Пририсовываю ко рту селедки какую-то длинную запятую.

— Да-а...— понимающе кивает Виктор Михайлович.— Селедка папиросу курит.

— Нет..— почти шепчу я в полном отчаянии.— Это у нее во рту петрушка...

Девочки взрываются хохотом. Смеется и сам Виктор Михайлович. Но во всем этом нет ничего обидного; я ведь и сама знаю, что рисование мне не дается.

Возвратившаяся в класс Дрыгалка, сидя за своим столиком, смотрит на мой рисунок, неодобрительно поджав губки.

— Какие-то нелепые остроты! — пожимает она сухонькими плечиками.

— Э, нет, не скажите! — заступается за меня Виктор Михайлович.— Рисунок, конечно, не так, чтобы уж очень... Но фантазия какая! И наблюдательность...

Дальше — урок арифметики. У учителя Федора Никитича Круглова голова в седеющих рыжих волосах, прямых и жестких. Близко сдвинутые глаза сидят глубоко под узким лбом — совсем как у гориллы на рисунке в книге Брэма «Жизнь животных».

Просмотрев весь список учениц, Федор Никитич останавливается на последней фамилии — моей! — и громко вызывает:

— Яновская Александра!.. Прошу к доске...

Задача, которую я должна решить, самая пустяковая. Я ее решаю, объясняя вслух ход решения.

— Гм...— говорит Круглов.— Задача решена правильно. Но почерк! Не цифры, а иероглифы... Это что? — тычет он указкой в одну из цифр.

— Четверка...

— Четверка? Это пожарный, а не четверка! Пожарный с топором или с крючком — вот это что! Садитесь.

Федор Никитич на секунду задумывается.

— За решение задачи я бы вам поставил пятерку... Но из-за пожарников этих не могу поставить больше, чем четыре с минусом.

Четыре с минусом... Первая моя отметка! Федор Никитич берет в руку перо.

— Нет! — говорит он, глядя на меня своими «горильими» глазами из-под нависшего над ними узкого лба.— Нет, и четверки с минусом поставить не могу. А тройку тоже не поставишь: мало. Четыре с двумя минусами — вот справедливая отметка!

Четыре с двумя минусами... А дома-то, дома думают, что я здесь ловлю пятерки сачком, как бабочек!

Весь урок проходит для меня как-то смутно. Четверка с двумя минусами давит меня непереносимо. В книгах часто пишут: «Она сидела, глотая слезы»... Я не глотаю слез; да и как это можно делать, если слезы льются из глаз, а глотать их надо вовсе горлом! Но я сижу, пришибленная своей неудачей. Я не обижаюсь на Федора Никитича; конечно, он прав: у меня невозможный почерк. Но все-таки мне ужасно грустно...

После урока ко мне подбегают Меля и Маня.

— Ну, что ты скисла? — с упреком говорит Меля.— Радуйся! Четверку получила!

— Да... С двумя минусами...— говорю я горько.

— Все равно четверка! Мало тебе?

— Мало.

— Да ведь четверка — это «хорошо»!

— А мой папа говорит: надо все делать отлично!

— Ну, знаешь, твой папа! Его послушать, так надо ранец на спине таскать и на одни пятерки учиться... Что за жизнь! Ну, да ладно...— добавляет Меля.— Сейчас у нас большая перемена, покушаешь — успокоишься. А после большой перемены урок танцев, вот ты и совсем развеселишься...

Меля раскрывает корзиночку, где у нее находится завтрак. Она бережно, очень аппетитно раскладывает его на листе бумаги и, откинув руку назад, словно прицеливаясь, негромко бормочет:

— Н-ну-с, посмотрим, что тут есть... Ну вот, семга! Очень славненькая семужька, Фомушька, Еремушька... Потом поедим телятинки... А на десерт пирожные! Ну, восподи баслави!

И она с аппетитом начинает поглощать бутерброды с семгой.

— Я, понимаете, деточки, уж-ж-жясная обжёра! Люблю покушять!..

Меля могла бы нам этого и не говорить: мы с Маней уже успели заметить это. Меля ест, прямо сказать, с упоением.

Урок танцев происходит в актовом зале. Зал большой, торжественный, по-нежилому холодноватый. В одной стене много окон, выходящих в сад. На противоположной стене огромные портреты бывших царей. Поперечную стену, прямо против входа в зал, зани-

мает портрет нынешнего царя, Александра Третьего. Это белокурый мужчина огромного роста, тучный, с холодными, равнодушными воловьими глазами. Все царские портреты в широких золоченых рамах. Немного отступя от царей висит небольшой овальный портрет молодой красавицы с лицом горбоносым и надменным. Это, говорит Меля, наша попечительница, жена генерал-губернатора Оржевского.

Мы входим в зал парами. Впереди нас идет Дрыгалка. Паркет в зале ослепительный, как ледяное поле катка. Даже страшно: «Вот поскользнусь! Вот упаду!»

Дрыгалка расставляет нас поодиночке, на некотором расстоянии друг от друга. Мы стоим, как шахматы на доске, как посаженные в землю маленькие елочки.

— Как начну-у-ут играть! Как пойде-е-ем плясать! — чуть слышно говорит стоящая позади меня Меля Норейко.

Ну, что тут смешного, в этих Мелиных словах? Ровно ничего. А я вдруг начинаю неудержимо хохотать!

— Тише, медам! — командует Дрыгалка.— Тише!

И так как смех все не оставляет меня, то Дрыгалка начинает искать, откуда исходит этот неприличный смех. Вся вытянувшись вверх, как змейка, она поводит змеиной головкой, стараясь охватить всю группу построенных для урока девочек.

— Так вот это кому смешно! Почему вы смеетесь, Яновская?

Смех замирает у меня в горле.

— Что вас насмешило, Яновская? Может быть, кто-нибудь сказал вам что-нибудь смешное?

Конечно, сказал. Меля сказала. И если бы мне задали этот вопрос еще сегодня утром, когда я пришла сюда, я бы от чистого сердца сказала правду: «Да, меня насмешила Норейко!» Но трех часов, проведенных в институте, оказалось достаточно, чтобы совершенно ясно усвоить: здесь нельзя говорить правду. Если я скажу, Дрыгалка, может быть, отвалится от меня, но она присосется к Меле, будет ее бранить, может быть, даже накажет... Нет, нельзя здесь говорить правду!

А папа-то, папа... Как он нынче утром грозил мне своим разноцветным хирургическим пальцем: «Помни: не врать! Никогда не врать!.. Только одну правду говори!» Скажешь тут правду...

— Кто вас так насмешил, Яновская? Не хотите отвечать? Ну, тогда пеняйте на себя: ступайте в угол!

Я смотрю на Дрыгалку растерянно. В какой угол? Почему?

Вытянув руку с длинным, изящно подстриженным ногтем, Дрыгалка показывает, в какой угол мне надо встать.

— Подумайте в углу над своим неуместным смехом!

Почти ничего не соображая, я становлюсь в угол.

Носком ботинка Дрыгалка брезгливо тычет в оброненный мною на пол носовой платок. Платок — хорошенький, вышитый, мамин. Мама дала мне его «на счастье». Я подбираю его с зеркального паркета. Нечего сказать, хорошо «счастье»!

— Да, да,— говорит Дрыгалка с насмешкой.— Поплачьте в платочек, это вам будет полезно!

Ну нет! Этого не будет, не увидит Дрыгалка моих слез, дудки! «Ненавижу плакс!» — говорит папа, когда я реву по пустякам. Но уж таких плакс, которые унижаются перед всякими дрыгалками, таких я сама презираю! И я стою в углу, внешне изо всех сил стараясь не плакать. Не дать Дрыгалке возможности торжествовать! Но ведь я понимаю: меня поставили в угол, это позор!

В зал входит маленькая женщина — «синявка», преподавательница танцев. За нею следует унылая старушка с нотами под мышкой. Это таперша. Она сразу проходит к роялю.

Я смотрю во все глаза на учительницу танцев. До чего хорошенькая! Ее зовут Ольгой Дмитриевной. Головка напудрена — маркиза! Головка по-



В зал входит преподавательница танцев...

ворачивается на шее, как цветок маргаритки, и такая же кудрявая, пушистая, как махровая бело-розовая маргаритка. Веселые молодые глаза, капризный ребячий рот.

Все девочки делают ей реверанс. И я, стоя в углу, тоже.

— Это наказанная! — с удовольствием докладывает обо мне Дрыгалка. И, обращаясь ко мне, командует: «Ступайте на место!»

Я прохожу мимо Ольги Дмитриевны, сгорая от стыда.

Однако глаза Ольги Дмитриевны скользят по мне равнодушно-безразлично. Ох, бело-розовая маргаритка видит ежедневно столько наказанных — за дело и без дела, за вину и без вины! — столько детских слез, столько несправедливостей! Она не хочет думать об этом. Если задумаешься, надо либо уходить из института, либо самой страдать и мучаться, желтеть и преждевременно стариться, как старятся и сморщиваются остальные «синявки».

— Начнем, дети! — бодро говорит Ольга Дмитриевна.

Тут в зал поспешно входит дежурная воспитательница Антонина Феликсовна Воронец. Я уже знаю от Мели Норейко, что девочки прозвали ее «Вороной». И она в самом деле зловещая, как ворона! Смотришь, и кажется, что несчастье притаилось в складках уныло висящего на ней платья, в тальмочке на ее плечах, даже в маленьком бубличке пыльно-седых волос, заколотых на ее затылке. Так и ждешь, что она сейчас каркнет, как ворона, возвестит беду...

Войдя в зал, Ворона в самом деле возвещает:

— Александра Яковлевна! — и почтительно пропускает кого-то в зал.

Меля шепчет мне сзади:

— Начальница идет! Макай! Глубже макай!

И я в первый раз вижу начальницу нашего института Александру Яковлевну Колодкину.

Теперь, когда я вспоминаю А. Я. Колодкину, то понимаю, что в молодости она была, вероятно, очень красива. У нее и в старости сохранилось красивое лицо, в особенности глаза. Но тогда она казалась мне только «Колодой» — очень тучной, грузной старухой, у которой не было видно ни шеи, ни талии, ни ног; голова казалась воткнутой прямо в плечи, верхняя часть туловища — в нижнюю, ноги — в пол. Сама она видела себя, вероятно, такою, какою была лет сорок назад,— очень юной, очень нежной, очень хрупкой. Выражение ее лица, улыбки были бы уместны у молоденькой девушки, но совершенно комичны у грузной, старой Колоды!

Медленными шажками Колода входит в зал. Платье на ней синее, как у всех «синявок», но не шерстяное, а из красивого, переливчатого шелка. Там, где бы полагалось быть шее, наброшено боа (горжетка) из красивых серых страусовых перьев. Все девочки «макают» — делают реверанс нестройно и не в лад.

— Здравствуйте, дети! — говорит Колода и улыбается нам так, как улыбалась, вероятно, сорок лет назад, склонив головку на плечо и сделав губки бантиком.— Я ваша начальница.

Дрыгалка и Ворона подставляют Колоде кресло.

— Дети! — спрашивает она.— Какой у вас сейчас урок? Ну, вот вы скажите...— обращается она к одной из девочек.

— Танцы...— говорит девочка.

Колода делает непонимающее лицо и с нарочитым недоумением ворочает головой, как буйвол, словно ищет кого-то...

— Кто это говорит? Не понимаю!

— Выйти из рядов! Выйти из рядов! — каркает Ворона.

Девочка выходит из рядов. Мне даже страшно смотреть на нее: стоит одна среди зала и перед самой начальницей!

— Я спрашиваю вас,— повторяет Колода,— какой у вас сейчас урок?

— Танцы...— шелестит девочка.

Колода грациозно разводит руками, похожими на бревна средней толщины.

— Ничего не понимаю! С кем она говорит?

— Реверанс! — подсказывает девочке Дрыгалка.

Девочка «макает» и снова еле слышно:

— Танцы...

Колода безнадежно уронила обе руки на колени.

Дрыгалка с мученическим выражением смотрит в потолок.

— Полным ответом! Сколько раз я вам сегодня повторяла!

Девочка наконец понимает, чего от нее хотят. Она отвечает «полным ответом»:

— Александра Яковлевна, у нас сейчас урок: танцы...

— Ничего подобного! Нич-ч-чего подобного! — энергично отзывается Колода.— Здесь не бывает танцев, да... Танцы — это на балу... А у нас — танцевание. Это урок, наука. Мы будем учить вас танцеванию, чтобы вы



Колода, приложив к глазам лорнет, разглядывает Катю Кандаурову.

стали легкими, изящными. Девушка должна быть грациозна, как фея... Как фея! — повторяет Колода, закрыв глаза и упоенно поводя головой.

Дрыгалка и Ворона тоже делают восторженные лица.

Вот сейчас, когда я вошла в зал, вы все сделали реверанс... Ужасно! Неуклюже! Как гип-по-потамы!

— Вот именно, гиппопотамы! — каркает Ворона.

Ольга Дмитриевна! — обращается Колода к учительнице.— Займитесь, пожалуйста, в первую очередь реверансами.

Ольга Дмитриевна приподнимает край своего синего платья для того, чтобы мы видели, как именно делается настоящий реверанс. Мы видим ее стройные ноги в прюнелевых ботинках и плавное, грациозное опускание в реверансе.

— Видели? — обращается к нам Колода.— Вот это реверанс, настоящий придворный реверанс! Кто хочет повторить, медам? Давайте все по порядку! Начиная справа! Пусть каждая по очереди выйдет и встанет передо мной. Прошу!

Девочка, стоящая первой с правого фланга, выходит и останавливается в нескольких шагах от начальницы.

— Представьте себе,— говорит Колода мечтательно,— что вы идете по нашему коридору и встречаете кого-либо из преподавателей, да... Вы делаете реверанс... Как вы это сделаете?

Девочка ныряет в реверансе и делает это неплохо.

Колода одобрительно кивает головой.

— Прилично... Следующая! Представьте себе, мой дружочек, что вы встретили на коридоре меня или господина директора, Николая Александровича Тупицына...

Эта вторая девочка тоже вполне справляется с реверансом.

Колода милостиво отпускает ее на место и вызывает третью.

— А вы,— предлагает ей Колода,— вообразите, будто вы идете по коридору и вам навстречу идет наша попечительница, супруга господина генерал-губернатора, кавалерственная дама, Наталья Петровна Оржевская! — Тут Колода показывает на портрет горбоносой красавицы.

Девочка делает реверанс, «как перед кавалерственной дамой».

Колода недовольно качает головой:

— Тут нужен особенный реверанс! А вы делаете самый простой. Непременно поупражняйтесь дома, непременно!

Четвертая девочка — это моя «пара», Катя Кандаурова,— получает совершенно ошеломляющее приказание.

— Представьте себе,— говорит Колода,— что вы стоите перед их величествами, да... Перед государем императором и государыней императрицей! Ну, сделайте реверанс!

У Кати Кандауровой пришибленный и даже какой-то несчастный вид. Голова вся в вихрах, в которые воткнут круглый розовый гребешок. Платье на Кате измято, передник скособочился. Ботинки нечищеные. Очень трудно представить себе Катю Кандаурову стоящей перед царем и царицей!

Но Колода ждет, и Кандаурова начинает мучительно подражать тому придворному реверансу, какой показала учительница Ольга Дмитриевна. Реверанс выходит до того плачевно неуклюжим, что по рядам девочек проносится смешок. Я не смеюсь: я с ужасом думаю о том, что сейчас после Кандауровой моя очередь, и ох какой корявый крендель вылеплю сейчас я, если меня заставят кланяться «как будто царю и царице»!

— Ай-ай-ай! — укоряет Кандаурову Колода.— Если вы сделаете такой поклон, то государь император скажет государыне императрице: «Ах, какая неизящная, какая неграциозная девочка!»

«Ох, папа, папа! — думаю я.— А ты воображаешь, будто меня здесь тригонометрии обучают!»

Колода между тем, приложив к глазам лорнет, в упор разглядывает «неизящную, неграциозную» Кандаурову.

— Как ваша фамилия?

— Кандаурова...— еле слышно отвечает та.

— Что у вас за голова! — показывает Колода на жесткие вихры, выбивающиеся из-под круглого розового гребешка.— Дикобраз! Какая-то вы неаккуратная, измятая, да...

— Ужасно! Ужасно! — каркает Ворона.

— Евгения Ивановна! — обращается Колода к Дрыгалке.— Займитесь, пожалуйста, этой воспитанницей... Кандауровой...

Дрыгалка с готовностью кивает:

— Конечно, конечно, Александра Яковлевна!

Она говорит это с такой кровожадной радостью, как волк, которому поручили «заняться» ягненком...

Наши страхи перед продолжением «придворных реверансов» оказываются напрасными: Колода больше никого не заставляет кланяться, «как если бы»!

— Ну, медам,— обращается к нам Колода с самой очаровательной улыбкой, от которой сорок лет тому назад, наверное, сходили с ума поклонники,— хотя нам с вами и весело (да, уж весело!), но меня призывают дела. Впрочем, следующий урок в вашем классе мой: французский язык. Итак, до свидания!

Колода медленно катится к выходу. Забежав вприпрыжку вперед, Ворона почтительно распахивает перед ней дверь.

По рядам девочек проносится вздох облегчения. Я смотрю на учительницу танцевания Ольгу Дмитриевну. Ей-то как? Легче без Колоды или нет? Но прелестная пудреная головка, похожая на махровую бело-розовую маргаритку, не отражает ничего.

До звонка остается всего десять минут.

— Теперь потанцуем,— говорит Ольга Дмитриевна.— Анна Ивановна, будьте добры, польку... Польку, медам! Кто танцует за кавалера, пусть загнет угол фартука.

Таперша Анна Ивановна играет польку, весело встряхивая в такт старенькой головой, как заведенная кукла. А девочки — ну, понятно же! — девочки бросаются в эту польку, словно в жаркий день с разбега в холодную речку! Они танцуют весело, самозабвенно.

Только одна пара не танцует: я и Кандаурова.

Едва раздались первые звуки польки, Кандаурова со стоном зажала уши руками. С растрепанной головой, в измятом платье и нечищеных ботинках она бежит в дальний угол зала, забилась там на крытую чехлом банкетку и с тупым отчаянием смотрит в зеркально натертый паркетный пол.

Маня взяла Кандаурову за руку, уговаривает ее: «Пойдем, Катя, пойдем с нами!.. Пойдем танцевать!..»

Кандаурова только молча трясет головой в знак отказа.

Ольга Дмитриевна не подходит к Кандауровой, даже не смотрит в ее сторону: вероятно, она не хочет расстраиваться. Но Дрыгалка уже вприпрыжку мчится к Кандауровой и Мане.

— Это еще что за трагедии вы разыгрываете? Почему вы не танцуете, Кандаурова? И прежде всего встаньте, когда я с вами говорю!

Кандаурова встает и, все так же глядя в

пол, отвечает Дрыгалке ровным, как будто безучастным голосом:

— У меня папа умер в среду... Вчера хоронили...

— Ну, а мама у вас есть? — несколько растерялась Дрыгалка.

— Мама умерла... давно... я ее и не помню...

Мы все сгрудились около Кандауровой и Мани. Мы молчим. Мы потрясены горем Кандауровой и своим бессилием хоть чем-нибудь помочь ей. Ну и, конечно, своей черствостью: ведь никто, кроме Мани, не почувствовал, что с Кандауровой неладно!

Раздался звонок — конец уроку танцевания! Ольга Дмитриевна с веселой улыбкой обращается к нам:

— До свидания, медам! Упражняйтесь дома...

Она уходит, неся на стебельковой шее пудреную головку-маргаритку. Дрыгалка считает, очевидно, необходимым выразить Кандауровой участие:

— Ну что ж, Кандаурова... Бог дал, бог и взял вашего папу... Не горюйте!

И тут же, меняя казенно-жалостливый тон на привычный, «синявкин», она кричит всем нам:

— В коридор, медам, в коридор!

Маня осторожно ведет под руку Кандаурову.

В коридоре мы видим Ольгу Дмитриевну: она весело хохочет, болтая с молодой классной дамой Аникиевой.

Я хочу сказать здесь, чтоб не забыть. Сорок лет спустя — уже после Октябрьской революции — я увидела в трамвае маленькую старушку в аккуратной плюшевой шубке с посветлевшим от времени, словно поседевшим, собольим воротничком. Головка ее была беленькая уже не от пудры, а от старости. Но все так же прямо держалась эта головка на стебельке шеи, все так же безмятежно смотрели слегка выцветшие глаза, и даже увядшие губки были сложены все так же капризно. «Маргаритка! — узнала я ее. — Махровая бело-розовая маргаритка!..»

— Здравствуйте, Ольга Дмитриевна! Вы меня не помните? Я ваша бывшая ученица. Узнаете?

Она всмотрелась в меня.

— Как же... как же... Ну, конечно, узнаю! Я вас очень любила, вы прелестно танцевали.

Она сказала слово «прэлэстно» так, как произносила его когда-то начальница, Колода, которой подражали все «синявки». Колода говорила еще «будьте любэзны» и «бэзумно, бэзумно!» вместо «безумно». И во мне сразу возник целый рой воспоминаний: торжественный актовый зал, портреты красавцев-царей с надутыми, глупыми лицами, и зеркальный пол, похожий на ледяное поле катка, и равнодушный, отсутствующий взгляд, каким скользили глаза Ольги Дмитриевны по лицам девочек, плачущих, наказанных, испуганных...

Вряд ли она в самом деле меня узнала, ведь прошло целых сорок лет! Да и танцевала я не более «прэлэстно», чем другие девочки, просто скакала под музыку веселым козленком! Это была явная «любэзность», равнодушная «любэзность» старой учительницы, которой нечего сказать своей давнишней ученице!

Я не спросила ее ни о чем — зачем? Она тоже меня ни о чем не спросила: ей было неинтересно. На остановке Ольга Дмитриевна приветливо кивнула, вышла из трамвая. Она сошла по ступенькам легко и грациозно, не по-старушечьи — а ведь ей было уже лет под семьдесят! — и пошла по тротуару, не оглядываясь на трамвай, откуда я следила за ней глазами: она, вероятно, уже не помнила, что за несколько минут перед тем она встретила в трамвае свою далекую молодость...

Я восхищалась тем, как удивительно сохранила она в глубокой старости очаровательный, хоть и повядший облик махровой маргаритки. Но вместе с тем мне все время думалось, что это было достигнуто ценой глубочайшего равнодушия к людям. Ольга Дмитриевна прожила жизнь, глядя на мир словно с далекой Луны. Это сохранило ее. Для кого? Очевидно, не для людей: к людям и их жизни она была равнодушна. А если не для людей, не для жизни, то, значит, ни для кого и ни для чего.

Всю перемену Маня обнимает Кандаурову, гладит ее по голове, говорит ей какие-то добрые, ласковые слова. Я тоже стою рядом. Сердце у меня разрывается от жалости, но вот не умею я так нежно, по-матерински подойти к Кандауровой! А Маня, вынув из волос Кандауровой розовый гребешок, расчесывает ее вихры, оправляет на ней фартук; Кандаурова становится более благообразной.

Но вот в класс входит на свой урок Колода. Она прежде всего заставляет всех нас по очереди, по скамейкам, как сидим, читать по нескольку строк из французской хрестоматии. Выясняется, что примерно три четверти класса еще не умеют даже читать по-французски. Только шесть или семь девочек чи-

тают, но запинаясь, по складам, видимо, не очень понимая смысл прочитанного.

Когда очередь доходит до меня, я читаю бойко и осмысленно. Колода смотрит на меня ласково и, прервав меня, спрашивает по-французски:

— Вы говорите по-французски?

— Да.

Она мягко поправляет меня:

— Надо отвечать полным ответом: «Да, сударыня, я говорю по-французски...»

Я повторяю за ней: «Да, сударыня, я говорю по-французски».

— У кого вы научились? — продолжает Колода по-французски.

— Я научилась у француженки мадемуазель Пикар.

— Остальные члены вашей семьи тоже знают французский язык?

— Да, моя мать и мой отец говорят по-французски.

Лицо Колоды все светлеет и добреет.

— Чем занимается ваш отец?

— Мой отец врач.

Тут Колода переходит на русский язык, очевидно, желая, чтоб ее понял весь класс:

— Очень хорошо, Яновская. Я поставила вам пятерку...

Но тут же, словно вспомнив что-то очень важное, она снова говорит мне по-русски:

— А скажите... какого вы вероисповедания?

— Еврейского.

— Вы неправильно отвечаете. Еврейского вероисповедания нет, ведь нет русского, или польского вероисповедания, или немецкого, или татарского, да... Есть православное, римско-католическое, лютеранское, магометанское. Евреи иудейского вероисповедания. Вот как вы должны отвечать на этот вопрос, да... Садитесь!

Дрыгалка шепчет Колоде что-то на ухо. Наверное, про то, что я нахально «хоте-е-ела», что меня пришлось поставить в угол за неуместный смех. С лица Колоды сходит доброе выражение. Нахалка, шалунья, да еще и «иудейского вероисповедания», нет, я разонравилась своей начальнице.

После меня вызывают Маню Фейгель; она отлично читает французский рассказ и отвечает по-французски на вопросы Колоды.

— Кто вас научил говорить по-французски?

— Мой отец, — отвечает Маня.

— А откуда ваш отец знает французский язык?

— Мой отец учился в Париже. Окончил Сорбонну.

— Чем же он занимается? — недоумевает Колода.

— Мой отец учитель.

— В гимназии?

— Нет. В двухклассном начальном училище...

Маня не рассказывает Колоде того, что на одной из перемен рассказала мне. Отец ее с утра до ночи дает уроки, бегает, как белка в колесе. Детей своих, Маню и ее старшего брата, отец учит французскому языку «в свободное время». А так как «свободного времени» у него нет, то каждое утро Маня с братом (иногда еще затемно, зимой, например) провожают отца до его училища — далеко, на другой конец города! — и по дороге он учит их французскому языку.

Мы с Маней довольны: мы получили по пятерке.

Рассматривая в лорнет список учениц, Колода вызывает:

— Карцева Лидия!

Встает и выходит из-за парты очень высокая девочка, Лида Карцева. У нее серые глаза, умные и смелые. Губы сложены треугольником — вершиной вниз, — от этого выражение лица у нее чуть насмешливое. Лида Карцева открывает французскую хрестоматию наудачу и читает вслух басню Лафонтена «Ворона и лисица». Она не просто хорошо читает, как читали перед тем, например, мы с Маней, — она читает, меняя голоса: спокойно за автора басни, униженно-льстиво за лисицу. Мы с Маней, восхищаясь, улыбаемся до ушей. Колода наслаждается Лидиным ответом: говорит Лида превосходно, с настоящим парижским акцентом, как не говорит и сама Колода.

— Где вы учились французскому языку? — спрашивает Колода, сияя улыбкой.

— Мы с мамой прожили целый год во Франции. Мама была больна и лечилась там, — спокойно отвечает Лида.

— Чем занимается ваш отец?

— Мой отец юрист.

— Хорошо, дружочек мой, очень хорошо... Садитесь!

Я смотрю на Лиду, не отрываясь, как зачарованная. Как-к-кая удивительная девочка! Какие у нее умные серые глаза! Нет, серо-голубые, всматриваюсь я. Наверное, она прочитала много книг, и русских и французских! Я так восхищаюсь Лидой Карцевой, что невольно пытаюсь сложить губы треугольником, как у нее. Но у меня это не получается!..

После уроков снова читают молитву. Затем Дрыгалка строит нас в пары — пара за

парой! пара за парой! — и десять раз повторяет, что внизу, в швейцарской, мы не должны галдеть, заводить между собой длинных разговоров: «Одеться — и домой!»

В швейцарской мы снова обступаем Катю Кандаурову. Она молча схватила руку Мани и прижимает ее к себе, словно это спасательный круг, за который она, утопая, держится.

— Катенька!..— говорит ей Маня.— Ты куда сейчас пойдешь?

— Не знаю...— полушепотом отвечает Кандаурова.

— У тебя дома кто-нибудь есть?

— Нету...— всхлипывает Кандаурова.— Нет, неверно я говорю... Есть муж тети Клани... маминой сестры... Мы с папой к нему въехали, когда папу сюда перевели... Месяц назад...

— А где эта тетя Кланя?

— Умерла. Только муж ее остался, больше никого...

В общем, все приблизительно ясно. Катя Кандаурова месяц назад приехала в наш город с отцом: его перевели сюда на службу из Костромы. Здесь они остановились пока временно, у мужа покойной тети Клани. Хотели снять квартиру и устроиться самостоятельно — совсем было уже собрались, даже чемоданы уложили,— но не успели: папа Кати заболел брюшным тифом. Катя осталась одна. Мы не хотим мучить ее расспросами, но мы чувствуем, что она не хочет идти на квартиру мужа тети Клани,— вот не хочет и не хочет, это ясно! Может быть, муж тети Клани — плохой человек, и Катя его не любит, словно боится...

— Даже на похороны папины вчера не пришел он... тети Кланин муж...— вдруг вспоминает Катя.

— Знаешь что, Катя? — говорит Маня.— Пойдем ко мне! Ты у нас пообедаешь, умоешься, мы с мамой платье твое вытютюжим, почистим... Пойдем! У нас и переночуешь.

Катя еще крепче прижимает к себе руку Мани.

— А можно? — говорит она с надеждой.— Мама твоя... и папа... Они не рассердятся? Нет?

— Ну, конечно! — уверяет Маня.— Мои мама и папа будут очень рады, вот увидишь... Пойдем, Катя!

Катя так обрадовалась, что прежде всего разражается целой рекой слез. Она плачет так тяжело, что и у всех нас начинает щипать в носу. Еще минута — и мы все зарыдаем...

— Да что тут происходит? — подбегает внезапно Дрыгалка.—Они еще не разошлись, они болтовней занимаются! Опять Кандаурова плачет! Ну, отведите ее кто-нибудь домой — и конец делу.

И тут я понимаю самое главное в Дрыгалке: она нас не любит. Она не любит детей. Все женщины, каких я знаю: моя мама, Поль, Юзефа,— все они обласкали бы несчастную девочку, согрели ее, может быть, даже заплакали над ее горем. А Дрыгалка только брезгливо повела плечами; даже тогда, когда Катя Кандаурова сказала, плача, что вчера похоронили ее отца, рука Дрыгалки не потянулась, чтобы приласкать девочку...

Мы выходим на улицу. Держа Кандаурову за руку, Маня уводит ее в сторону, противоположную дороге к моему дому. Мы группкой остаемся стоять у подъезда института.

— Стойте! Стойте! — вдруг вспомнив что-то, бросается за ними Лида Карцева.— Я зайду, скажу этому дяде, что ты сегодня не придешь... А не то он может заявить в полицию, что ты пропала... Как твой адрес, Катя?

— Андреевская улица, дом Клебанова.

— А фамилия дядина какая?

— Полуэктов... А он не придет за мной к Мане? — со страхом спрашивает Катя.

— А я ему не скажу! Я ведь и сама не знаю, где Маня живет! — смеется Лида.

— Я пойду с тобой,— говорю я Лиде.

— Куда?

— К этому... ну, Кланиному или как его там...

— К Полуэктову!— поправляет Лида.— Хорошо, идем.

— И я с вами пойду, ладно? — гудит Варя Забелина.

Домик, где живет Полуэктов, находится в глубине одного из дворов по Андреевской улице. Из окошек доносится пение, тенор выводит с пьяным надрывом:

> ...Невеста была в белом платье,
> Букет был приколот из роз...
> Она на святое распятье
> Тоскливо взирала сквозь слез...

Дверь не заперта. Мы входим в домик.

— Здесь живет господин Полуэктов? — спрашивает Лида таким великолепным «взрослым» голосом, что я прихожу в восторг.

Одна из дверей рывком растворяется. В ней стоит пьяный мужчина в одних брюках, без пиджака и босой. Величественным жестом он тычет себя в грудь:

— Полуэктов! Чем могу служить и с кем имею честь?

Лида все так же уверенно заявляет:

— Я подруга Кати Кандауровой. Карцева. Я пришла предупредить вас, что Катя сегодня домой не придет. Она у хороших людей, и вам о ней беспокоиться не надо.

— А я и не беспокоюсь! — говорит Полуэктов.— Хоть пропади она навсегда, даже, пардон, не почешусь!

— Еще одно,— добавляет Лида с такой спокойной уверенностью, словно она совсем взрослая.— Все имущество Кандауровых, которое находится в вашей квартире, не-прикос-но-вен-но!

— И вы отвечаете за каждую вещь! — вдруг гудит басом Варя Забелина.

Тут и мне хочется сказать что-нибудь! Но я ничего не могу придумать подходящего и потому повторяю Варины слова.

— Отвечаете, да! — выкрикиваю я неожиданно тоненьким голоском. Как уличный петрушка! Даже самой смешно...

— Можете не продолжать! — говорит Полуэктов, глядя с величайшим презрением на Лиду Карцеву, которая, он понимает, среди нас главная.— Иван Полуэктов, конечно, пьяница, он, может быть, пардон, даже сволочь, но не вор! — И он шумно, размашисто бьет себя в грудь.— Понятно вам, Миликтриса Кирбитьевна, Сумбека, царица казанская?

— Очень рада за вас, господин Полуэктов! — И Лида с величественным кивком головы уходит, уводя нас за собой.

На улице мы долго хохочем.

— Хороши вы обе! — смеется Лида над Варей и мной.— Одна, как из бочки, грохнула, другая пищит, как мышь! Я чуть не прыснула там!..

— И откуда ты такие слова знаешь? — удивляюсь я.— Не-при-кос-ни-тельно!

— Не «неприкосновительно», а «неприкосновенно»,— поправляет Лида.— Папино слово, юридическое. Разве ты не слыхала от своего папы докторских слов?

— Слыхала, конечно...

— Вот бы и сказала Полуэктову,— вмешивается Варя Забелина: — Берегитесь! Если пропадут вещи Кати Кандауровой, у вас сделается ам-пен-дин-цит!

Мы уходим. Вслед нам из полуэктовского домика летит песня:

...Над озером, среди тумана,
Бродила дева, дева по скалам,
Кляла жестокого тирана,
Хотела жизнь отдать волнам...



На мой звонок выбегают сразу все.

На углу мы расстаемся. Я иду домой и все время отгоняю от себя какие-то невеселые мысли. Но по мере приближения к нашей улице я иду все медленнее. По лестнице я поднимаюсь так, словно за спиной у меня по меньшей мере вязанка дров. Что̀ я расскажу дома? Такой длинный был этот первый день моей самостоятельной жизни, столько в нем было всякого, и хорошего и плохого! Нет, я расскажу не все сразу, начну с хорошего, ведь все ждут меня дома, радостно ждут!

На мой звонок выбегают сразу все: и мама, и Поль, и Юзефа, и даже папа! Меня ведут — все! — мыть руки, обедать.

— Ну, как? Рассказывай, рассказывай!

— Все хорошо...— говорю я.

И рассказываю про все, что было хорошего. Пятерку по французскому языку поставила мне сама начальница!

— Какая милая дама! — умиляется Поль.

— По арифметике,— продолжаю я,— четверка...— и добавляю с огорчением: — с двумя минусами...

— Ничего! — подбадривает меня папа.— Мы это переживем. Не все ведь сразу.

— Учитель рисования — художник, старый, с белой бородой, чудный! Девочки очень хорошие: Маня Фейгель, Лида Карцева, Варя Забелина. Еще есть Меля Норейко, ужасная обжора...

Что еще было сегодня хорошего? Больше ничего. И, значит, надо рассказывать про все плохое, а это, ох, как не хочется!

Я сижу со всеми за столом. Голова моя клонится все ниже и ниже над тарелкой, словно я собираюсь лакать суп языком, как кошка молоко.

Все молчат.

— Юзефа! — говорит папа.— Вы посолили суп?

— А як же ж! — удивляется Юзефа.—Что я молодая, что ли, чтоб соль забыть? Солила!

— А вот наша ученица, кажется, собирается посолить суп слезами...

Я понимаю: папа пытается обратить все в шутку, но в голосе его тревога. Мама и Поль смотрят на меня с испугом.

Но всех сильнее действует все это на Юзефу. Она бросается ко мне, обнимает меня, словно хочет защитить от всех врагов, и, глядя мне в глаза, с отчаянием кричит:

— Били? Кто бил? Скажи, я тому очи повыдираю!

— Перестаньте, Юзефа! Глупости какие! — сердится папа.

Я беру себя в руки и с запинками, с заминками рассказываю все, что было плохого. У нас очень противная классная дама, очень злая, ее все ненавидят, зовут Дрыгалкой. Дрыгалка на меня кричала: «Здесь вам не полагается хоте-е-еть, здесь нужно слушаться!» Про селедку, которую я нарисовала, Дрыгалка сказала: «Глупые остроты!» — и повела плечом — вот так!.. Перед уроком танцевания Дрыгалка поставила меня в угол: «За неуместный смех!» А когда она спросила, кто же это меня так рассмешил, я *не могла сказать правду,* что меня рассмешила Меля Норейко: ее бы тоже поставили в угол, если б я сказала правду. А ты говоришь, папа: «Правду, правду!» Как ее говорить, правду?.. И еще было плохое: у Кати Кандауровой вчера похоронили отца, она плакала, она такая несчастная, и ни Дрыгалка, ни учительница танцев даже не пожалели ее... И еще я юдейская... Что это такое?

— Все? — спрашивает папа.

— Все.

— Ну, так перестаньте все над ней страдать! Ничего страшного во всем этом нет...

— Как же нет, Яков? — говорит мама, вытирая платком глаза.

— А так, что нет! Может быть, эта классная дама в самом деле плохой человек. не знаю. Что же, девочка проживет жизнь и не увидит плохих людей? Их очень много на свете! Жаль, что она сталкивается с ними так рано, но что поделаешь? А что в школе надо «не хотеть», а слушаться, так ведь это правильно! Подумай, если всякий начнет выкомаривать на свой салтык, что ему «хочется», никакого учения не будет! И в угол ее поставили за дело: она смеялась во время урока! Я бы,— оговаривается папа,— не ставил детей в угол: по-моему, нехорошо так срамить их, да еще в первый же день... Но ведь у нее могут быть другие мысли, не такие, как у меня, у этой вашей, ну, как ее? Не Дрыгалкой же мне ее звать, есть у нее, наверное, имя и отчество, Христофора Колумбовна, что ли...

— Евгения Ивановна... А как же, папа, правду? Сам видишь, правду там говорить нельзя!

Папа задумывается. Молчит. Ох, как ему трудно ответить!

И вдруг в разговор вступает Поль.

— Помнишь,— говорит она,— как первого мая твой отец ходил всю ночь по квартирам, а там спрятали людей, которых избили полиция и казаки? Ну вот, если бы на следующий день его позвали в полицию и приказали: «Назовите адреса, по которым вы ходили оказывать помощь!»,— как ты думаешь, он назвал бы эти адреса?

— Конечно, нет! Он ни за что не сказал бы!

— Да, не сказал бы,— подтверждает папа.— Потому что тогда всех этих избитых, раненых людей арестовали бы!

— А что бы ты им сказал, этим полицейским?

— Я бы сказал: «Отстаньте от меня! Какие раненые? Я ничего не знаю, я всю ночь спокойно спал дома!»

— Ты солгал бы?

— А по-твоему, надо было сказать правду?

Мы все долго молчим.

(Продолжение следует.)



ЛЕДОХОД НА ОНЕГЕ

Юрий КОРИНЕЦ

Рисунки автора.

Река, вздохнув, сломала лед —
И льдины двинулись в поход.

В виду весенних берегов
Их шум велик
И бестолков!

Им отдана на миг река,
А им бы мир весь
На века:
С разбегу берег занимать,
Мосты сносить, суда ломать,
Заковывать в броню из льда
Поля, деревни, города...

Но льды плывут,
И тают,
И попусту мечтают!
А им вослед по берегам
Несется громкий птичий гам.

Глядят на них все веселей
Проталины среди полей,
Леса, да пашни черные,
Да изб коньки узорные...

И льдины ежатся, спешат,
Грызут друг друга и крошат.
И станут все однажды днем
Волной, туманом и дождем.

МАЯК

На северном краю земли
Маяк встречает корабли.

Вокруг лишь каменные лбы
И больше ничего...

И нет ни у кого судьбы
Такой, как у него:

Весь век в разлуке пребывать,
Весь век встречать и провожать,
А все стоять на месте
Легко ль, скажи по чести?

Теперь полярный долгий мрак
И берег неуютный...

Но все ж маяк
И здесь — моряк,
Хотя и сухопутный!

Он в бурю многих уберег
И знает, что не одинок:

Недаром
В море корабли
Приветы шлют ему,
Когда с невидимой земли
Сигналит он во тьму!





СТРАНИЦЫ ПИОНЕРСКОЙ ИСТОРИИ

Ю. НОВИКОВА



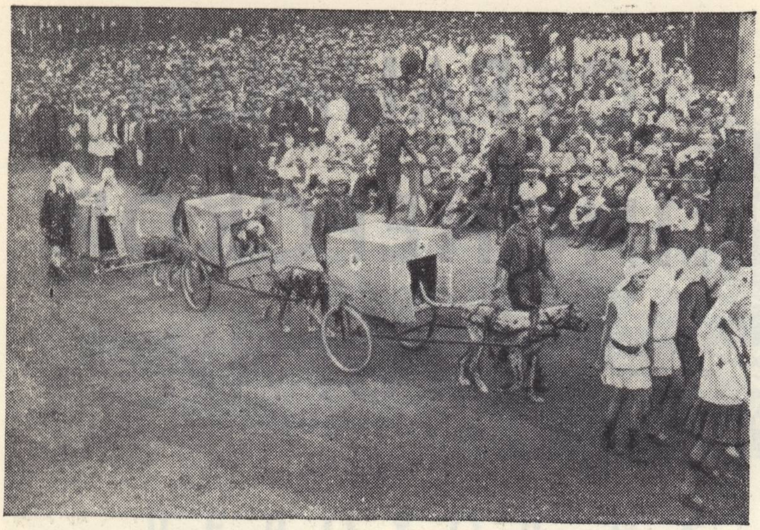


В день рождения как-то принято оглядываться на пройденный путь. Почему бы и нам не последовать этому хорошему примеру! Ведь нынче у нас день рождения пионерской организации.

Вот здесь старые фотографии... Рассмотрите их хорошенько — и перед вами раскроется несколько славных страниц пионерской истории... Как жили тогда ребята!

На фото — мальчик и девочка, юные пионеры молодого колхоза «Волна революции». Стоя на вышке, зорко вглядываются они вдаль. По строгим, серьезным лицам дозорных вы сразу чувствуете, что им поручено важное дело. Так и есть: они оберегают урожай, помогают колхозу. В те годы — почти тридцать лет назад — ребята не только помогали старшим, нередко им приходилось спорить со взрослыми, переубеждать их, отстаивать новое... Пионеры в селе не только чинили дороги, истребляли вредных грызунов — сусликов, собирали на поле колоски... Они боролись за культурную работу в сельском хозяйстве: первыми в колхозах разводили племенных кур, разъясняли отсталым взрослым пользу агротехники.

«Пионер — значит строитель нового»,— сказала как-то Надежда Константиновна Крупская. В борьбе за новое пионерам тех лет иной раз случалось сталкиваться с жестоким сопротивлением... Ребята, которые сняты здесь, охраняют колхозное поле не только от случайной потравы, но и от злых людей — все могло случиться в те годы борьбы с кулаками! У дозорных решительный, отважный







вид. Это достойные сверстники Павлика Морозова.

Не только в деревне — и в городе пионеры были носителями культуры. Посмотрите, с каким вежливым и в то же время решительным лицом подходит пионерка к бородатому рабочему завода «Калибр». Неловко, конечно, делать замечание пожилому человеку. Но куда же это годится — сидеть в столовой, не снимая шапки!

...Годы первой пятилетки. На глазах изменяется молодая страна. И в эти кипучие годы юные ленинцы — верные помощники коммунистам в самых важных, в самых насущных делах.

Всеми доступными ребятам способами участвуют они в укреплении боевой мощи Родины. На одной из фотографий вы видите, как пионеры передают агитэскадрилье имени А. М. Горького самолет «Пионерская правда». Самолет этот построен на средства, собранные ребятами.

А вот другое фото: юные санитары, готовые к борьбе и обороне, торжественно проходят перед пленумом МК ВКП(б). Рядом с ребятами обученные ими санитарные собаки.

Дети рабочих горячо принимают к сердцу жизнь родного завода. Выполнение программы — личное, кровное дело каждого из них. Перед вами характерная для того времени сценка: пионеры заключают договор с рабочими. Рабочие чугунолитейного цеха завода «Динамо» торжественно обещают пионерам полностью выполнить месячный план.

...«В Эркетенях пионеры выявили 72 неграмотных», «Пионеры Ленинского аймака учли 57 неграмотных и обучают их» — такие заметки можно часто встретить в газетах и журналах конца двадцатых — начала тридцатых годов... Тогда еще у нас в стране было много неграмотных. Ребята уговаривали их учиться, часто сами давали им уроки. Один из таких уроков вы видите на фотографии.

Наступил 1929 год. Пионерской организации исполнилось семь лет, пионерам разных сел и городов было о чем порассказать. Обменяться опытом друг с другом и с зарубежными ребятами, наметить план будущих работ — вот какие задачи ставил перед собой Первый Всесоюзный слет юных пионеров. Он открылся в Москве восемнадцатого августа.

...И время поет,
И юность зовет,
Советский Союз
Призывает на слет! —

писал тогда на страницах журнала «Пионер» поэт Михаил Светлов... Около семи тысяч юных делегатов съехалось в те дни в Москву. Улицы были наводнены маленькими украинцами в смушковых шапках, туркменами в ярких халатах, ленинградцами в черных каскетках. Из-за границы приехали юные итальянцы, англичане, немцы, чехи, румыны... Берлин прислал в Москву десять делегатов, Нью-Йорк — пять. Среди них были негры Джим Адамс и Шелли Стрикленд, которых вы видите на этой странице.

Слет открылся на стадионе «Динамо». Делегаты рапортовали о своих делах. По стадиону двигались макеты тракторов, построенных на средства, собранные ребятами, модели радиоприемников, сделанных пионерами... Шагала гигантская курица с цыплятами...

«Обязуемся обучить за год 50 тысяч неграмотных!», «Установим 20 тысяч радиоприемников!», «Уничтожим 500 тысяч грызунов!» — обещали пионеры с трибуны...

На четвертый день слета, двадцать второго августа, в Андреевском зале Кремля состоялась международная пионерская конференция. Делегаты Китая, Америки и других капиталистических стран рассказывали, как трудно там живется детям рабочих. Пионеры, говорящие на разных языках, заключали друг с другом договоры на лучшую работу, отряды обменивались знаменами...

Вот делегаты из города Луганска — родины К. Е. Ворошилова, вот американские делегаты и пионеры Средней Азии. Эти сцены сняты в Кремле во время конференции... Горячая дружба связала за дни слета ребят, живших в самых различных уголках земли. Многим из них на всю жизнь запомнились слова, сказанные на слете почетным пионером Бауманского района, соратником Ленина Глебом Максимилиановичем Кржижановским: «Лучший борец за социализм тот, кто является лучшим товарищем».

Вот о чем напоминают нам старые фотографии. Должно быть, и у вас в отрядном альбоме есть снимки, отображающие разные случаи из вашей пионерской жизни. О каких делах напомнят они через двадцать — тридцать лет! Много ли дел, полезных Родине, вы совершили!

★









Море пришло в школу

Однажды февральским вечером у нас в школе проходила пионерская линейка дружины.

Линейка была совсем необычной. В коридоре громоздилась целая гора ящиков; в строю, среди ребят в пионерской форме, стояли трое одетых в зимние пальто, в теплые шапки, в валенки; несмотря на поздний час, в школе было много народу: учителя, нянечки, родители.

Эта необычная линейка закончилась проводами на вокзале. Провожали тех троих, что стояли на линейке в шубах: Наташу Смирнову, Олега Назимова и председателя совета дружины Люду Петрову.

Ночью поезд мчал Наташу, Люду, Олега и учительницу Елену Алексеевну Кантур далеко на север.

Куда и зачем отправились ребята? Почему так торжественно их провожали? Почему все купе, в котором они ехали, было заставлено ящиками? Чтобы ответить на все эти «почему» и «зачем», надо вернуться к событиям минувшей осени.

* * *

Еще в ноябре совет дружины решил исполнить то, о чем уже давно мечтали все ребята в школе: подружиться с военным кораблем, со славными советскими моряками. Как это сделать? Кому писать? Куда? На какой корабль? Много волнений и хлопот было, пока это выяснили. Наконец все решилось: пишем на крейсер «Александр Невский». Пишем? А может, надо вовсе не с письма начинать? Снова у ребят споры, сомнения. Как полагается начинать дружбу? Может, надо сперва телеграмму от имени всей дружины? Или послать фотографии всех отрядов? Или обращение прямо к командиру крейсера?

Спорили, спорили и пришли к выводу, что неважно, как начать, лишь бы от души. Решили послать морякам новогодние поздравления и от каждого пионера подарок. Ребята сопровождали свои подарки короткими шутливыми записочками: «Любителю сладкого», «Самому веселому моряку», «Тому, у кого больше всех друзей», «Лучшему из радистов»...

Ответ пришел молниеносно: 1 января.

В вестибюле, на доске под стеклом, белел квадратик бумаги. Сгрудившись возле доски, ребята читали:

«Москва Е-43 школа 437. Поздравляем учеников преподавателей Новым годом желаем успехов учебе здоровья тронуты подарками благодарим от всей души. Моряки крейсера «Александр Невский».

Затем в школу потоком пошли письма. Вместо марок на конвертах стоял треугольный штемпель: «Матросское письмо. Бесплатно».

И хотя письма имели совершенно определенных адресатов (на одном стояло: «Жене Филатову», на другом — «Богомоловой Тане», на третьем — «Вите Сергееву»), читали их звеньями, отрядами, а то и всей школой. Письма переходили из рук в руки. Их помещали в школьных «молниях». К такой «молнии» на переменах невозможно было протолкаться, особенно если в ней были фотографии корабля, матросов, матросской службы, учения и отдыха.

Дело, начатое пионерами, захватило и увлекло всю школу. Не только на отрядных сборах, но и на комсомольских собраниях и в учительской шел разговор о крейсере, о том, что сделать еще, как порадовать новых друзей.

Каждый ученик жаждал написать письмо, послать рисунок, фотографию. Всю школу охватила лихорадка изготовления подарков-самоделок. Их получилось больше семисот. Семнадцать ящиков понадобилось для упаковки! В ящиках лежали сотни рамок и шкатулок, носовых платков и варежек, портсигаров и кисетов, закладок — всего не перечислишь. Но всех мастеров затмил пионер Витя Муругов. Он сделал в подарок командиру крейсера деревянный портсигар. Вероятно, ни один портсигар в мире не изготовлялся с таким превеликим старанием — все в нем было сделано тщательно, по собственной веселой фантазии. Портсигар был украшен резьбой не только снаружи, но даже изнутри. Резьба внутри была, пожалуй, излишней, но зато она свидетельствовала о дружеских чувствах и рвении молодого мастера.

Для вручения подарков экипажу крейсера выбрали делегацию.

Вот для проводов этой делегации и собралась та линейка, о которой я рассказал в самом начале.

Конечно, любой провожающий был бы рад занять место одного из троих, если бы в школе не предстояли события не менее важные и интересные. Ребята пригласили к себе моряков с «Александра Невского».

— Приедут или не приедут?

В те дни не было в школе вопроса, который волновал бы больше, чем этот.

Наконец телеграмма:



Вот они, наши дорогие друзья!

ВЫЕХАЛИ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ПОЕЗД 15 ПРИБУДЕМ 21 В 5 УТРА
ДЕЛЕГАЦИЯ СЕВЕРОМОРЦЕВ —

Что тут было! Не передашь.

Все в один голос решили, что моряков надо поселить в школе, ко всем поближе. Потеснились, и в одной из классных комнат устроили спальню. Со всей школы и из дома несли все, что казалось подходящим, нужным.

Получилось хорошо: шесть аккуратно заправленных коек, около каждой — тумбочка. Сделали проводку для настольных ламп и для радио. На окна поставили вазоны цветов, а на все тумбочки — по букетику мимоз. Достали билеты и в Кремль и на праздник в Лужники, но все не могли успокоиться. Бегали за советом то ко мне, то к учителям, то к вожатой.

— Как вы думаете, если приготовить на завтрак какао и сварить по два яйца всмятку,— это ничего?

— Как вы думаете, в какие театры взять билеты?

— Какие книжки приготовить для чтения?

И вот он подошел наконец, день встречи! Завтра... Но поезд приходит в пять утра. Еще городской транспорт «спит». Как добраться вовремя до вокзала через весь город? К счастью, у одного мальчика брат оказался шофером. Он согласился выручить ребят — доставить на вокзал.

* * *

В телеграмме не был указан номер вагона, но как раз это никого не обеспокоило. Думалось: не так уж трудно разглядеть в разношерстной толпе пассажиров шестерку моряков в красивой и приметной флотской форме!

Поезд подходит. Медленно проплывают вагоны. Останавливаются со звоном сталкивающихся буферов. Ребята смотрят во все глаза и видят... что из каждого вагона выходят моряки. Такой уж это поезд, он несет пассажиров от двух морей!

Но как же теперь узнать моряков с «Александра Невского»? Ребята в растерянности кидаются то к одной, то к другой группе.

— Вы наши? — спрашивают они.

— Конечно, ваши! — улыбаясь, отвечают моряки и проходят мимо.

К счастью, наконец обнаружились долгожданные «наши». Трудно сказать, кто кого обнаружил: может быть, и моряки с крейсера заприметили ребят, озабоченно снующих в толпе.

И вот гости в школе, в комнате, приготовленной и обставленной с таким тщанием. Кажется, все продумано, ничего не забыто. С ожиданием смотрят ребята на гостей. Все, что может понадобиться,— все здесь к их услугам!

— Ребята, а где достать утюг?..

Утюг?!. Билеты в театр есть. Графин с кипяченой водой есть. Цветы есть. А вот утюга-то и нет! Забыли ребята о флотской аккуратности. Не знали, что каждый краснофлотец управляется с иголкой, ниткой, с утюгом так же умело и ловко, как и со сложной боевой техникой корабля.

Моряки наводили блеск на свои форменки, а в это время дверь комнаты, в которой они поселились, уже осаждала нетерпеливая толпа ребят.

* * *

Гости привезли много подарков, да таких, что у всех дух захватывало: бескозырки, морские вымпелы, карты, альбомы, горны и даже настоящую матросскую робу, помеченную номером «288».

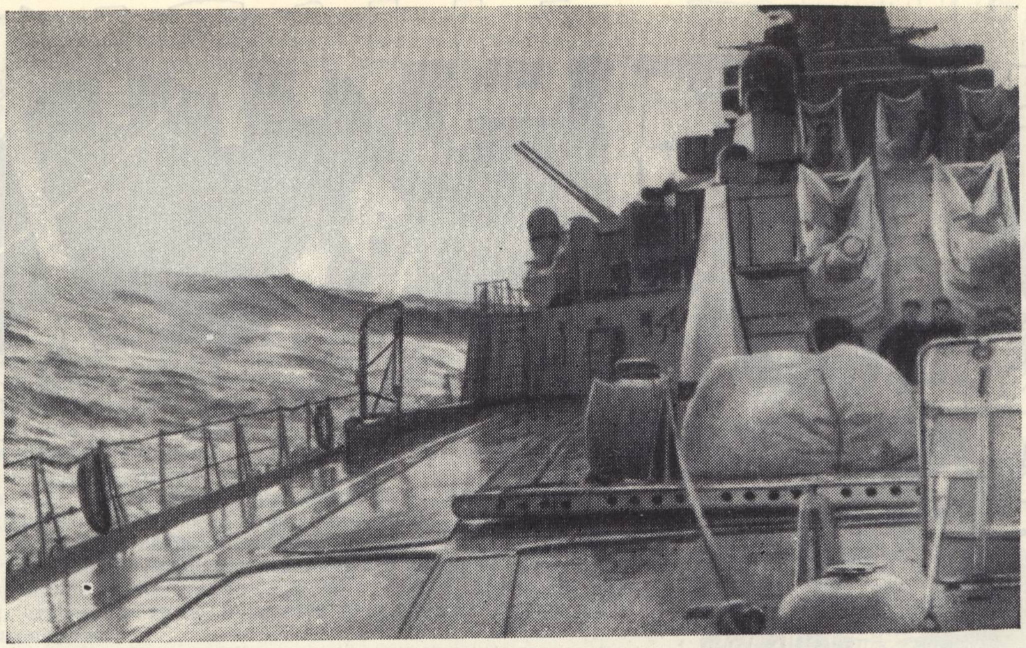
Двадцать второго февраля на торжественном сборе дружины было объявлено о присвоении ей почетного имени Сорокалетия Военно-Морского Флота. На трех этажах школы выстроилась пионерская линейка. Делегация моряков вручила пионерам флаг корабля и «Положение о военно-морском флаге». Моряки привезли с собой магнитофонную запись «Подъем флага на корабле». Поставили ленту, и по школьному радио на всех этажах зазвучали торжественно-строгие слова команды: «На флаг и гюйс смирно!.. Флаг и гюйс поднять!..»

Казалось ребятам, они видят море в лучах утреннего солнца и бело-голубое полотнище, плавно поднимающееся на фале.

Посланцы крейсера стали почетными пионерами и ходили по школе в пионерских галстуках, к полнейшему восторгу всех ребят. Комната, отведенная гостям, была постоянно «на осадном положении». Всегда она была битком набита, и всегда у двери толпились те, кого комната не смогла вместить.

Сколько задушевных бесед велось в эти дни, сколько дружеских связей укрепилось и завязалось вновь! Сколько песен было перепето, сколько лихих «яблочек» переплясано!

Казалось, вместе с шестеркой моряков в школу пришло море. Отведенный им класс стал называться кубриком, школьные коридоры — палубами, лестницы — трапами, пионерская комната — кают-компанией, школь-



В походе (из фотоальбома, присланного моряками в подарок пионерам).

ный звонок — рындой, школьный буфет — камбузом, а буфетчица — коком.

Быть может, началом этому послужила привычка моряков применять морские термины к вещам сухопутным. Ребятам это очень понравилось, они быстро усвоили морской словарь, и для них все это превратилось в какую-то увлекательную игру. Вероятно, не одному пионеру мечталось, что школа-крейсер идет по штормовому морю и палуба-коридор мерно покачивается под ногами.

* * *

А в это самое время на крейсере делегаты школы переходили из кубрика в кубрик, рассказывая экипажу о своей жизни, о своих товарищах, о Москве.

Наташа, Люда, Олег и Елена Алексеевна приехали вечером. Уже было темно, когда они на баркасе подходили к «Александру Невскому», стоявшему на рейде. Вдруг вспыхнули прожекторы, серебряные лучи осветили баркас. И тотчас на крейсере прозвучал сигнал большого сбора. Команда выстроилась по борту. Загремели медные трубы оркестра. Когда ребята поднялись на палубу, их встретил и первым приветствовал сам командир крейсера.

Путешествуя по кораблю, ребята вдруг увидели свою елочку, маленькую искусственную елочку, украшенную миниатюрными игрушками. Оказалось, что эта елочка — один из школьных подарков к Новому году — теперь стала переходящим призом: присуждается лучшему кубрику и составляет гордость матросов, завоевавших ее своей отличной службой.

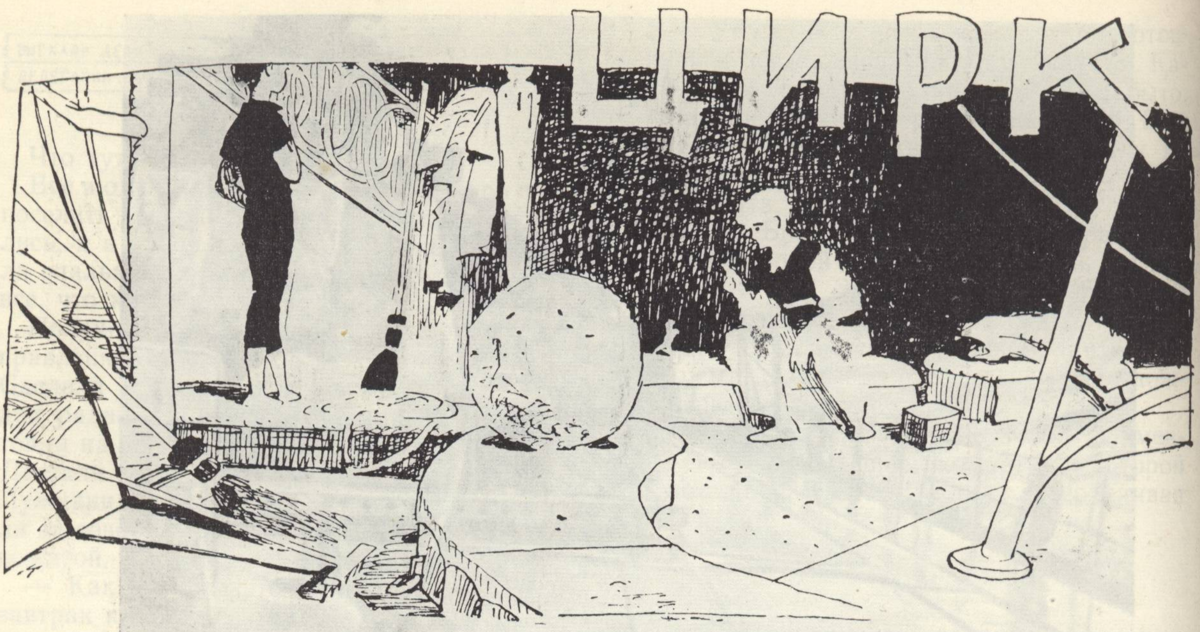
* * *

Вот уже три месяца прошло со времени всех этих волнующих событий. Но и сейчас в школе ребята наперебой будут вам рассказывать, что «Александр Невский» — огромный корабль, что высотой он с восьмиэтажный дом, что вдоль его палубы можно поставить в ряд пять таких больших школ, как 437-я, что на его палубах, в его отсеках и коридорах они просто боялись заблудиться.

Для сигнальных флажков, подаренных моряками, нашлась работа. В школе родился новый кружок — «Юный моряк». Семиклассник Сережа Шувалов ходил на занятия в «Морской клуб», получил звание инструктора и теперь учит своих товарищей сигналить флажками, строить модели судов.

Скоро — с первыми днями каникул — откроется летний туристский лагерь школы № 437, и тогда на высокой мачте взовьется не обычный лагерный флаг, а бело-голубой флаг корабля с алой пятиконечной звездой посредине.

Директор школы № 437
М. Б. Ценципер.



Очерк Л. ФРИДМАН.

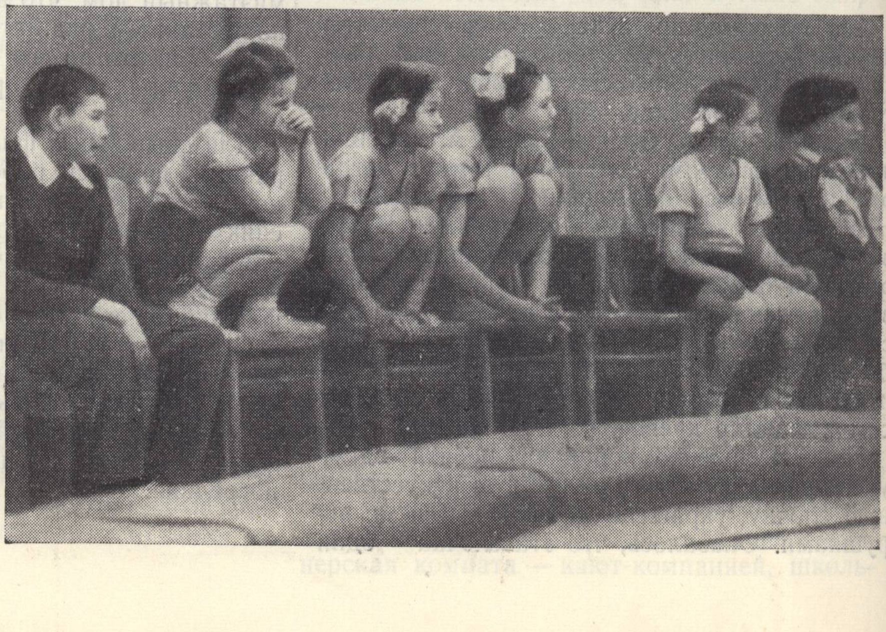
Рисунки Ю. Коровина.

Вы умеете танцевать на проволоке? Нет?! А ездить на слоне? Тоже нет? А глотать пламя? Как, даже не пробовали?! Вот так раз! А мы знаем ребят, которые все это проделывают с удивительной легкостью. Эти ребята — обыкновенные школьники, они учатся в восемьдесят первой школе города Казани.

Вместе со своей старшей вожатой Галей Косовой они организовали в школе цирк. Вот о нем мы и хотим вам рассказать.

Как сделать лицо посмешнее

Над этим вопросом долго бился шестиклассник Дима Рейтман. В классе на уроках лицо у Димы самое обыкновенное, ничуть не смешное, и это его вполне устраивает. Дима — директор школьного цирка. Ему приходится обдумывать программу, руководить репетициями, доставать костюмы и реквизит. Здесь лицо у него скорее озабоченное. Но вот школьный зал наполнился ребятами, началось цирковое представление — вот тут-то



Репетиция. Словно воробушки, примостились девочки на стульях у цирковой арены. Хочется ведь посмотреть другие номера! А придет очередь выступать самим — вмиг из зрителей превратятся в артистов.

Диме и нужно, чтобы у него был смешной вид, потому что теперь Дима — клоун. В афише, что висит в вестибюле, около раздевалки, так и сказано: «У ковра известный клоун Дима Рейтман».

Ковра, правда, никакого нет, но клоун все равно должен быть смешным. Дима надевает ярко-рыжий парик и широченный костюм в клетку. Лицо густо напудрено и разрисовано какими-то замысловатыми зигзагами. Каждое Димино слово вызывает хохот в зале. Вот он проходит через сцену с огромным портфелем. Из портфеля торчит подушка.

— Ты куда? — спрашивает кто-то из зала.

— На урок.

Зал содрогается от смеха. Очевидно, дело здесь не только в словах, хотя и правда смешно: ученик спит на уроках да еще и на подушке. Но самое смешное то, как Дима подает эту реплику. В его тоне звучит бесконечная забота о себе, о своем здоровье, в голосе нет и тени юмора. Он совершенно серьезен. В этом, должно быть, и есть основной секрет комичности. Когда человек делает или рассказывает смешные вещи, оставаясь серьезным, глядя на него, невозможно не рассмеяться.

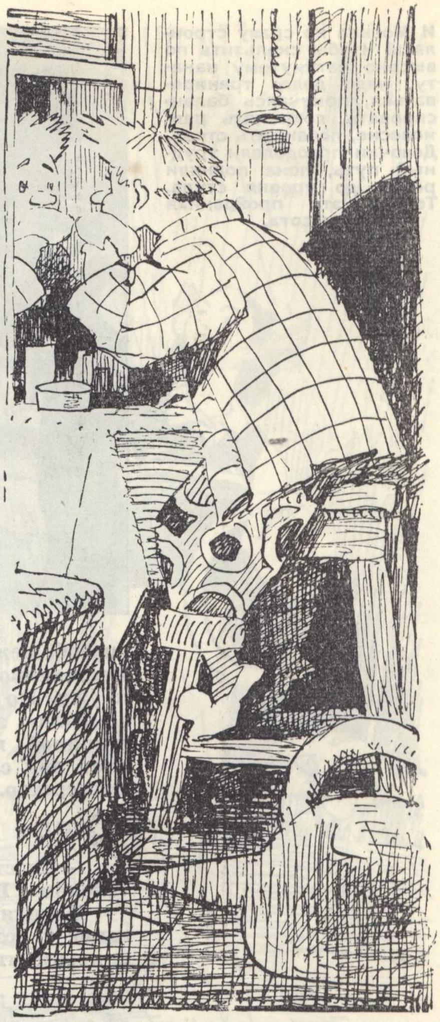
И в зале непрерывно стоит смех, да такой, что лампочки вздрагивают. На то и цирк, чтоб было весело. Правда, шутки клоуна не всегда безобидны. То он подденет хвастуна, да так похоже изобразит его, что по крайней мере половина зрителей сразу узнает, на кого намек. То притащит, кряхтя, огромную гирю и начнет старательно «выжимать» ее, приговаривая:

— Всех спортсменов заткну за пояс. Самого Витю Гусарова обгоню. Он тренировки пропускает, а я вот тренируюсь.

И Витя, к которому оборачиваются ребята, краснеет и ворчит:

— Подумаешь...

Но, взглянув на Диму, невозмутимо размахивающего гирей, вместе со всеми заливается смехом. Дело в том, что по всем Димкиным движениям видно, что гиря-то совсем легкая, не тяжелее мяча. Этот рыжий притвора вначале так ловко делал вид, что ему тяжело, так напрягался. А потом «забыл» и долго сокрушался, что «испортил» хороший номер. И так он естественно ругал себя, что Димина бабушка, которую внук однажды пригласил на представление, даже расстроилась. Ей стало жаль, что «ребенок так убивается».



А когда не надо играть, в обычной обстановке, Дима — серьезный мальчик. И ребята относятся к нему с большим уважением. Недавно Диму приняли в комсомол.

Однажды какой-то из Диминых одноклассников баловался на уроке. Он кривлялся, пытаясь рассмешить ребят, и учительница сказала ему:

— Ну что ты из себя клоуна строишь?

— Лидия Парамоновна, зачем вы так говорите? — обиделся Дима.— Ну какой же он клоун? Просто кривляка.

И учительница и все ребята согласились с Димой.

Канатоходцы танцуют на полу

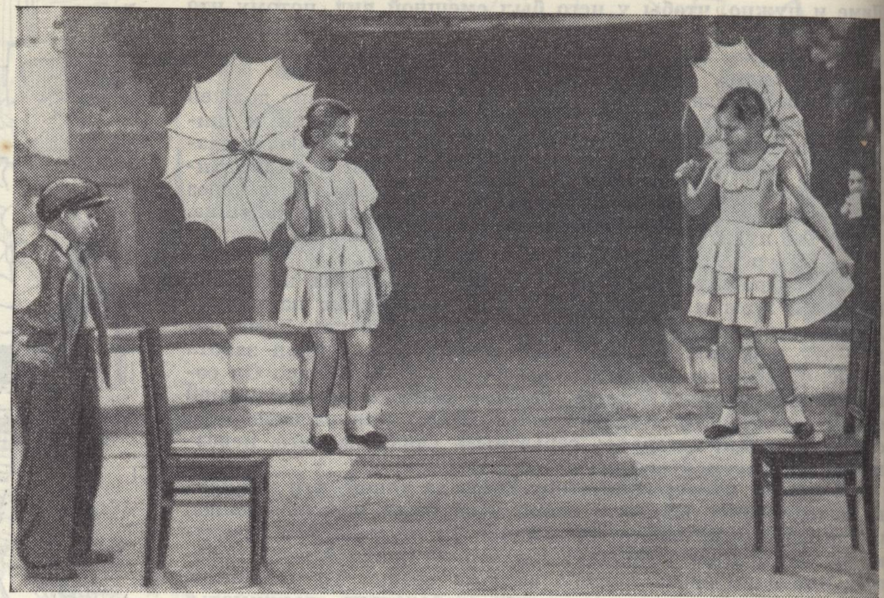
На очередном представлении конферансье объявил:

— Выступают канатоходцы. Что самое замечательное в искусстве канатоходцев? То, что они танцуют на высоко натянутой проволоке, как на ровном полу. А наши канатоходцы особенные... Они танцуют на ровном, надежном полу, как на проволоке.

Две подружки-третьеклассницы — Римма и Галя — исполнили танец канатоходцев на воображаемой проволоке. Они ступали уверенно и вместе с тем осторожно, как настоящие канатоходцы. Оркестр играл веселую польку. Номер принимали хорошо, зрители долго хлопали маленьким танцовщицам. А Дима гордо называл их «наша творческая молодежь».

И, как «молодежь» по-настоящему творческая, Римма и Галя не успокоились на том, что их номер включен в программу и нравится публике. Нет, они решили со временем научиться танцевать на канате. Как учиться? Пробовали сначала такой способ: клали канат на пол и ходили по нему. Потом натянули его совсем невысоко, на уровне табуретки. Казалось бы, небольшая разница, но на натянутом канате девочки не смогли ступить и шагу. Тут уж было не до танцев. Тогда они попробовали другой

И Москва не сразу строилась! Чтобы скользить по высоко натянутому канату, надо долго тренироваться, приучаясь балансировать, сохранять равновесие, побеждать страх. Девочки преодолели трудный путь, пока подняли рейку до уровня стула. Теперь это пройденная высота.

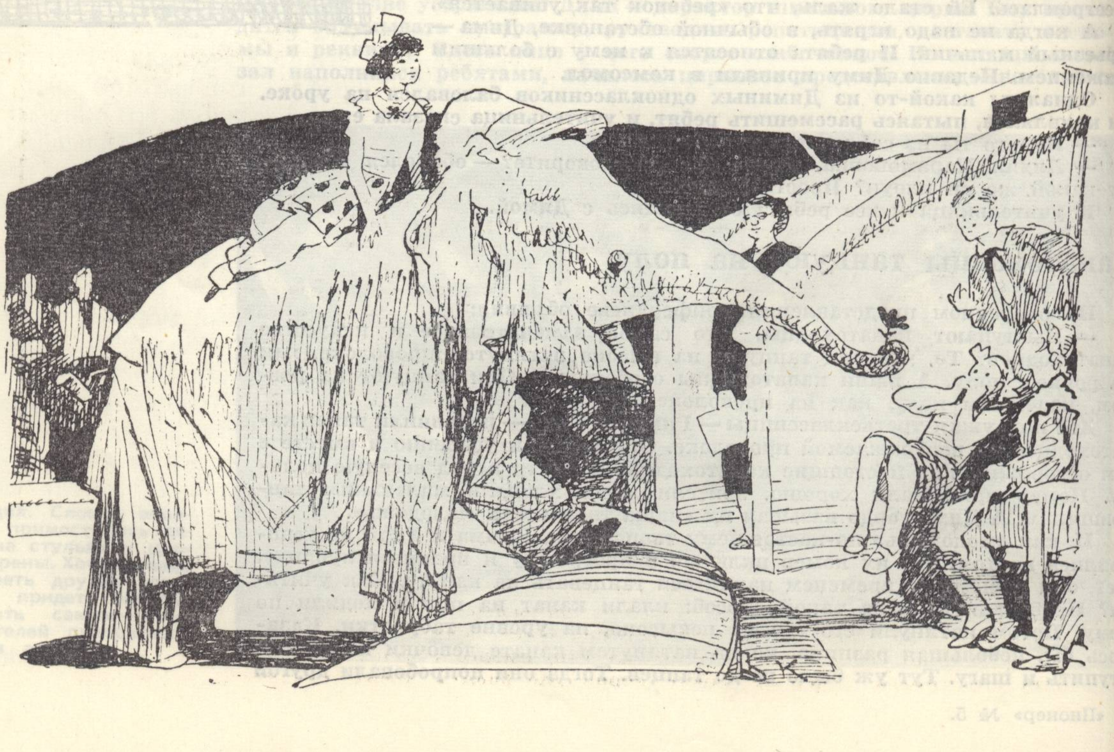


способ: между двумя стульями положили доску и стали танцевать на доске. Постепенно девочки сострагивают часть доски, она становится все у́же и у́же. Но так как доска сужается постепенно, Римма и Галя почти не замечают этого: они танцуют теперь на рейке сантиметров в пятнадцать шириной, и укреплена рейка довольно высоко над сценой. Дима объявляет под смех публики, что «молодые» артистки заметно повысили свое мастерство.

«Слон» не слушается

— Выступает дрессировщица Наташа Гусарова со своим любимым «слоном» Шуриком,— объявляет ведущий.

Появляется серый «слон» в яркой попоне и с цветком в хоботе. На спине у «слона» сидит девочка. Она посылает в зал воздушные поцелуи, а потом что-то шепчет «слону» на ухо. «Слон» начинает медленно кру-



житься в вальсе. Ребята дружно аплодируют. Все они, даже первоклассники, знают, что «слон» невзаправдашний. Цирковые костюмеры сшили из серой материи «слона», который надевается на двух пятиклассников — Женю Михайлова и Рагима Файзулина. Но как слаженно и ловко действуют Женя и Рагим! Зрители забывают о том, что «слон» — вовсе не слон, а очередная веселая выдумка «артистов». И, когда «слон» танцует, встает на задние ноги или проделывает другие номера, ребята бурно аплодируют Наташе Гусаровой, сумевшей выдрессировать это тяжеловесное, огромное животное...

А когда «слон», вдруг позабыв Наташины уроки, начинает с топотом носиться по сцене и Наташа в растерянности смотрит на озорника, из зала совершенно искренне кричат:

— Осторожно, Наташа, он тебя затопчет!



То, чего не видят зрители

В зале идет репетиция. Это совсем не похоже на представление. Нет сверкающих блестками костюмов, нет цветных фонариков и флажков. Здесь сейчас упорно и терпеливо работают. Сделать двойное сальто, как это делают акробаты Люда Пчелина и Галя Васина, не всякий сумеет. А ведь надо еще, чтобы получалось непринужденно и легко. Вот это, пожалуй, самое трудное в искусстве циркового артиста — легкость.

В настоящем цирке воздушный гимнаст на огромной высоте, под самым куполом, совершает головокружительный полет и улыбается. Наездница стоит во весь рост в седле мчащейся по кругу лошади и с веселым лукавством посматривает на зрителей. Силач бросает на помост тяжеленную штангу и уходит с арены с таким видом, как будто он может хоть сейчас поднять еще три такие штанги.

Пока ребята не устроили свой цирк, они не знали, какое это трудное, веселое и грациозное искусство — искусство циркового артиста — и как трудно иногда улыбаться и делать вид, что тебе все нипочем.

Файруза Яфеева — жонглер. Она выходит на сцену и, как будто играя, подбрасывает и ловит мячики, обручи, булавы. И когда цветные мячики мелькают в воздухе, никому и в голову не приходит, сколько раз они падали на репетициях, какую точность и глазомер выработала в себе Файруза для этой красивой игры.

Однажды перед представлением Файруза потеряла один из своих мячиков, и ребята принесли ей простой теннисный мяч. Файруза попробовала жонглировать, но ничего у нее не вышло. Теннисный мяч оказался тяжелее прежнего, а значит, падал он быстрее. Руки Файрузы привыкли ловить мяч на миг позже, и «посторонний» мячик успевал упасть на пол.

— Пропал номер,— грустно сказала девочка.— Пока не привыкну к новому мячу, нельзя выступать. Он совсем по-другому летает.

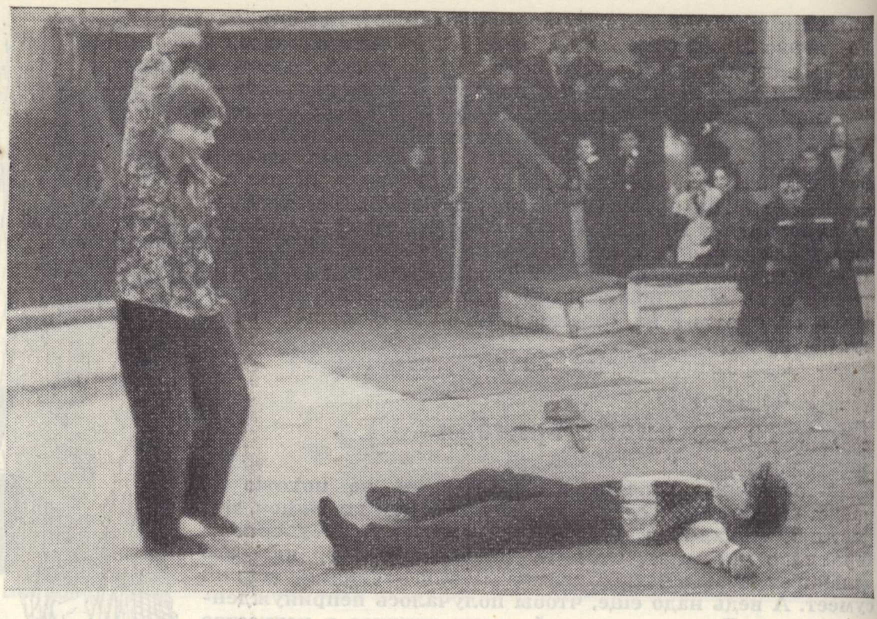
А «слон»? Рагим и Женя прошли под балахоном, наверное, десятки километров, пока научили своего «слона» ходить. Ребята послали письмо в Москву, в уголок Дурова: «Пожалуйста, срочно сообщите, какая походка у слона. В каком порядке он ставит ноги. Как собаки и кошки? Или как иноходец: две правые, потом две левые? Нам очень нужна ваша научная консультация, пожалуйста, ответьте».

Ребята всерьез относятся к своему цирку. И, как настоящие артисты, не забывают правила: «В искусстве нет мелочей».

Белая мышь по прозвищу «Белянка» выступает с простым номером. Она выходит из клетки, становится на задние лапы, опускается и опять уходит в клетку. И там получает за этот «аттракцион» кусочек сахара. Но и такому несложному номеру Миша Николаенко — дрессировщик — учил Белянку несколько месяцев.

Все номера утверждает строгий художественный совет. Бывает иногда так, что даже интересные он бракует. Вот, например, Витя Хабибуллин приготовил фокусы. Сначала все шло хорошо: Витя зажигал кусок бумаги и «глотал» огонь. А через секунду он уже тянул изо рта длинную яркую ленточку серпантина. Хороший фокус, верно? Но ребята, члены художе-

Учиться падать, учиться громко плакать, учиться неуклюжим движениям, учиться делать смешное без смеха... Мало ли каким еще неожиданным вещам надо учиться клоуну, чтобы стать клоуном!



ственного совета, заметили, как Витя сунул за щеку свернутый серпантин. Увидели — и, конечно, не приняли номер. Так и сказали Вите:

— Фокус сделан нечисто, выступать нельзя, поработай еще.

Спорить в таких случаях не принято.

На большой арене

Однажды перед представлением в школу пришел невысокий коренастый человек в синем пальто. Билетер Нина Соболева остановила его:

— Ваш билет, пожалуйста.

Вход в зрительный зал разрешается только по билетам. Они хотя и бесплатные, но нужны для порядка: на них указаны ряд и место.

У человека в синем пальто билета не оказалось. Правда, как только он назвал свою фамилию, Нина ойкнула и сразу узнала его. Это был заслуженный артист Татарской АССР Юрий Андреевич Шафиров из Казанского государственного цирка. Настоящий цирковой артист пришел посмотреть школьный цирк.

Юрий Андреевич — дядя Юра, как называли его в афишах, расклеенных по городу,— сидел в первом ряду, хлопал маленьким артистам, до слез смеялся над «слоном», кричал «браво» жонглеру. И когда на сцене появлялся клоун Дима, взрослый клоун веселился наравне с мальчишками и девчонками, сидящими в зале.

В антракте он разыскал Диму и сказал серьезно:

— Хорошо работаешь, коллега. Просто здорово работаешь. Вот только с гримом у тебя не все в порядке. Такой грим закрывает лицо.

Дима не понял.

— Понимаешь, это термин такой актерский. Грим должен «открывать» лицо, то есть подчеркивать в лице то, что необходимо для создания образа. Вот ты играешь такого смешного, лукавого, немного нелепого человека. Для тебя очень важна игра лица, мимика. А мимики твоей зритель почти не видит: ее скрывают все эти лишние черточки. Давай-ка я тебя перегримирую. Успеем?

Юрий Андреевич и Дима быстро прошли в пионерскую комнату, где одевались артисты. Дима сел к зеркалу.

— Сотри все это. Теперь сделаем так: белила на все лицо, брови приподнятые, углы рта вверх,— видишь, сразу смешное, удивленное лицо. Теперь под глазами — голубоватым. Знаешь, зачем? Чтобы глаза оттенить. Они теперь будут далеко видны, даже из последнего ряда. Ну, вот и все.

Так началась дружба Димы со взрослым клоуном. А скоро и два цирка, школьный и взрослый, стали друзьями. Ребята частенько бегают на Черное озеро, где стоит круглое здание цирка. Вахтер уже признал их и пропускает с артистического входа. Артисты цирка всегда рады ребятам, помогают «отработать» трудный номер, дают дружеские советы. А несколько раз, когда арена цирка была свободна, ребятам разрешили даже дать представление — в настоящем цирке, на настоящей арене!

Пионер дружит с детьми всех стран мира.
(Из Законов юных пионеров Советского Союза)

Друзья из разных стран



Учусь писать по-русски

Здравствуйте!

Хотя мы с вами живем очень далеко и мы с вами не знакомились, я знаю, что это ничего, потому что мы живем с одной целью — борьба за социализм и за мир. Эта великая цель нас неразрывно связала.

Я живу в городе Тяньцзине. Я ученица женской школы № 4 и учусь в первой группе третьего класса. Наша школа находится в центре города. Около школы есть маленькая река. На берегу реки много деревьев. После уроков мы часто там гуляем.

До освобождения эта школа принадлежала французскому империалисту. Тогда в школе учились только единицы. После освобождения она принадлежит китайскому народу. Наша партия и наше государство дали нам условия для учебы.

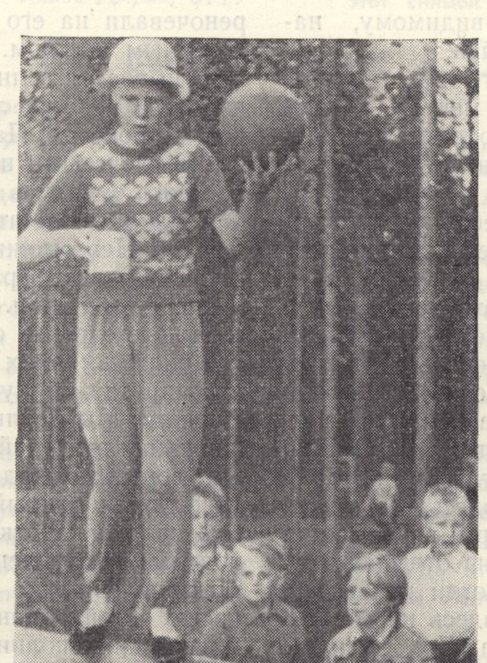
В школе много классов, несколько лабораторий, зал, библиотека и спортивная площадка. Мы изучаем родной язык, историю, математику, физику, химию и русский язык. Поэтому я пишу по-русски.

Во время каникул мы часто ездили в деревню помогать крестьянам в их учебе и работе. Наша жизнь очень счастливая. Скоро будет праздник. В тот день мы устроим концерт. Как вы проводите праздник? Пишите мне, пожалуйста!

Ваша подруга *Ян Хун-хуа*. Китай.



Лето в Кайну



Этот снимок прислан из Финляндии. В пионерском лагере округа Кайну ребята сами построили спортивную площадку и проводят там состязания по бегу, прыжкам, стрельбе из лука, по метанию лассо. Здесь сфотографировано веселое состязание на равновесие. Пионер должен пройти по бревну, не уронив мяча и не расплескав из кружки воду.



Весна

Измятый, полосатый
Плывет по речке лед,
А на леваде рядом
Пчела сбирает мед.

Как солнце светит ярко!
В воде лучи горят,
И роща надевает
Свой лиственный наряд.

Милан Половина.
Югославия.



ПОЧТА

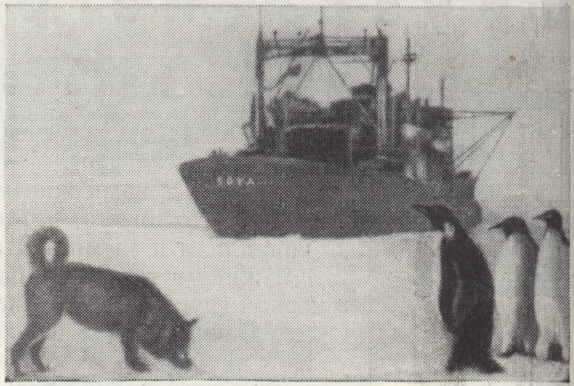
Спрашивает японский школьник

Меня очень интересуют исследования Антарктиды. Пожалуйста, напишите еще о работе советских ученых. А я вам расскажу об исследованиях, которые ведет там Япония. У нас несколько домиков поставлено на острове Онгуль. Начальник зимовки — господин Нишихори. На зимовке живут одиннадцать человек, несколько собак породы карафуто и кошка. В следующем письме я напишу еще о японских антарктических исследованиях.

Я так счастлив, что японское исследовательское судно «Сойя» было спасено советским ледоколом «Обь»! Японский народ говорит спасибо за это. Если бы «Обь» не помогла, «Сойе» не удалось бы вырваться из ледяного плена.

Что вы думаете об испытаниях водородной бомбы?

Акиро Танабэ. Япония.



Корабль «Сойя» затерт антарктическими льдами. Этот снимок Акиро Танабэ вырезал из японской газеты и прислал в своем письме советскому другу.



Из Германии—про Артек

Пребывание в Артеке, по-видимому, навсегда останется в моей памяти.

В лагере царила такая атмосфера дружбы, о которой я не мог даже мечтать. Всюду бывали вместе немецкие и русские ребята. Всюду я видел лица, освещенные дружеской улыбкой.

Каждый день был таким веселым, что, уходя спать, мы уже радовались завтрашнему дню.

Однажды мы ездили на автобусах в Ялту, посетили там дом писателя Чехова и бывший царский дворец, в котором теперь размещен прекрасно оборудованный санаторий. Он весь из мрамора. А лестница покрыта толстым ковром. Здесь отдыхают трудящиеся со всех концов страны. Мы могли сами осмотреть комнаты и столовую; здесь все, как в самом прекрасном отеле! Через переводчика мы разговаривали с одним из отдыхающих. Он сказал нам (мы едва могли поверить), что он за свое пребывание здесь не должен платить ни одного пфеннига. Все, включая проезд туда и обратно, ему оплатило государство. Он по профессии слесарь-механик.

На другой день вечером на небольшом моторном судне мы ездили к Аю-Дагу. Мы переночевали на его восточной стороне перед лагерным костром. Великолепно! Утром мы видели восход солнца над морем и затем поехали на рыбную ловлю к скалистой западной стороне Аю-Дага. Хотя у нас было тридцать удочек, мы поймали только одну рыбу. И много смеялись над этим.

А какой замечательный был фестиваль в Артеке! Невозможно описать все. В последний вечер весь Артек собрался на большой арене 4-го лагеря. Вначале выступали иностранные отряды, среди них были и мы. Когда видишь, каких хороших успехов добились другие, то чувствуешь себя совсем маленьким. Мы боялись, что не найдем поддержки у зрителей. Однако наше выступление вопреки ожиданиям прошло хорошо, и танец имел полный успех.

Я только коротко перечислю самые прекрасные выступления. Стройный финский мальчик звонким голосом спел матросскую песню своей родины. Бельгийский мальчик мастерски исполнил мимические сцены, которые были встречены громкими аплодисментами. Албанский отряд спел песню своей родины. Выступали поляки, чехи, норвежцы и пионеры из ГДР. Между этими выступления-

ми мы видели художественную самодеятельность русских пионеров. Мы видели народные танцы и слушали прекрасные хоровые песни. Больше всех мне понравился маленький мальчик, который показал сольный танец. Ему было не более девяти лет, но как он танцевал! Он был одет в башкирский национальный костюм. На голове меховая шапка с маленьким лисьим хвостом, который свисал вниз. Богато вышитое болеро и жемчужные бусы на шее, широко разлетающиеся рукава, темные шаровары и маленькие аккуратные сапожки. С первого взгляда он понравился всем. И все зрители хором просили его повторить танец...

В заключение праздника был зажжен огромный фейерверк. Вначале ракеты поднимались в воздух по отдельности, но затем началось такое, что мы ничего не могли сказать, кроме «а-а» и «о-о». Вращался светящийся диск. Падал звездный дождь. Треск. Хлопанье. И, наконец, вся площадь ярко освещена поднявшимися в небо ракетами. Прекраснее этого ничего нельзя представить.

В Артеке я близко познакомился с люксембургским и норвежским мальчиками. Из всех отрядов мне дали по адресу. Я буду писать им и моим многим русским друзьям и надеюсь таким образом внести свой маленький вклад в дело укрепления дружбы между народами.

Кладс Генрих, ФРГ.



Есть Германия, где детям запрещают быть пионерами, где им грозят полицейские,— это ФРГ. И есть Германия, где ребята свободны,— это Германская Демократическая Республика. Здесь на фото — пионеры ГДР на первомайской демонстрации. Они прислали вам этот снимок как свой майский привет.



На демонстрацию в Олдермастон

Дорогой Пионер!

Вчера у нас был Фестиваль спектаклей, в котором принимали участие все классы. Скоро мы устроим «Всемирную ярмарку», чтобы собрать деньги на нашу новую библиотеку. А сейчас нам строят новое помещение — научные корпуса.

В пятницу очень много народа пойдет от центра Лондона до Олдермастона в знак протеста против водородной и атомной бомб и ядерного оружия, а также с требованием, чтобы премьер-министр сейчас или в самое ближайшее время принял участие в переговорах на самом высоком уровне между нашими странами. Пойду и я, пойдут еще моя сестра и некоторые друзья. Британия должна последовать вашему примеру в этом вопросе.

Мне бы хотелось приехать и поиграть с кем-нибудь из ваших школьниц в хоккей. Наверно, матчи трудно организовывать и дорого. Но я думаю, что такой способ общения между нашими странами был бы очень плодотворным и очень помог установлению дружеских связей. Сейчас это мечта. А когда-нибудь это осуществится. Примите самые лучшие пожелания от **Патриции Рапопорт.**

Англия.

Патриция — давний друг нашего журнала. Она участник VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Вы, вероятно, читали ее выступление в октябрьском номере «Пионера». Демонстрация, о которой она рассказывает в этом письме, состоялась 4—7 апреля этого года. Сотни сторонников мира в знак протеста против использования в военных целях атомной энергии отправились в Олдермастон, английский научно-исследовательский центр ядерного оружия.



НОВЕНЬКИЙ

(Сцены из пьесы АЛЭНА ХАРДИ, одиннадцатилетнего австралийского школьника)

ДЕЙСТВИЕ I

Классная комната перед уроком. Билл читает комикс. Джим наливает чернила. Врывается Том.

ТОМ. Туземный мальчишка поступает к нам в школу!

БИЛЛ. Надеюсь, не в наш класс?

ТОМ. В наш. Но, я думаю, он будет сидеть отдельно.

ДЖИМ. Что это с вами, ребята? Чем провинился черный мальчик? Он такой же, как вы, только черный.

БИЛЛ. Вот в том-то и штука! Черные и белые — это не одно и то же.

Дверь открывается. Входит Альберт Рамменарра.

АЛЬБЕРТ. Я хотел бы видеть учителя.

БИЛЛ. Ты, ниггер...[1]. Черномазым не к чему видеть учителя.

За сценой шаги. Входит мистер Бэст, учитель.

М-р БЭСТ. Доброго утра! **(Смотрит на Альберта.)** А, это ты и есть туземный мальчик?

АЛЬБЕРТ. Да, сэр.

М-р БЭСТ. Как тебя зовут?

АЛЬБЕРТ. Альберт Рамменарра.

М-р БЭСТ. Мальчики! Вы сможете позаботиться об Альберте?

БИЛЛ. Простите, сэр, но у нас с Томом тут одно дело...

Уходят. В дверях оборачиваются и строят рожи Альберту.

ДЕЙСТВИЕ II

Та же комната. Джим и Алэн сидят на передней парте.

ДЖИМ. Альберт говорил, что придет к девяти, а сейчас четверть десятого.

АЛЭН. Я не удивлюсь, если окажется, что они подстерегли его.

ДЖИМ. Кто это они?

АЛЭН. Кто же, как не Том и не Билл!

ДЖИМ. Ты хочешь сказать... Послушай, но тогда мы должны скорее... **(Бросается к двери, Алэн удерживает его.)**

АЛЭН. Спокойно! Эти ребята постараются напасть в отдалении от дома. Он ведь идет через заросли. А в зарослях он сумеет ускользнуть.

Входит Альберт, избитый, в рваной одежде.

ДЖИМ. Это наверняка те двое! Трусливые негодяи!

М-р Бэст появляется в дверях.

М-р БЭСТ. Кто трусливые негодяи?

ДЖИМ. Ох, простите, не слышал, как вы вошли!

М-р БЭСТ. Отвечай на вопрос. Кто трусливые негодяи? **(Взглянув на Альберта.)** Ох, кто же это сделал?

АЛЭН. Том и Билл, сэр. Когда он шел в школу.

М-р БЭСТ. Пойдите и скажите, что я жду их после уроков.

ДЖИМ **(в дверях)**. Пойдем, Альберт. Надо сделать тебе перевязку.

ДЕЙСТВИЕ III

Сцена I

Та же комната. Прошло еще два дня. Билл и Том сидят за партой. На стене объявление: «Неграм вход запрещен».

ТОМ. Джим и Алэн сегодня не будут в школе.

Входит Альберт.

ТОМ. Эй, ниггер! Читать умеешь?

(Показывает пальцем на объявление.)

АЛЬБЕРТ **(глядя на объявление)**. Ведь его не было вчера?

> **Дети всего мира должны быть друзьями, чтобы и потом, когда вырастут, сохранить эту дружбу.**
>
> **У советских пионеров много друзей. Из разных стран, ближних и дальних, идут весточки дружбы. Кто шлет письмо, а кто — фотографии, кто — рисунки, а кто — стихи. Они хорошие ребята, эти ваши далекие друзья! Посмотрите, какую пьесу написал австралийский школьник Алэн Харди. Он выступает на защиту угнетенных коренных жителей Австралии. Он за дружбу и равенство между народами и между детьми всех народов.**
>
> **Пусть эта дружба не знает границ. Она укрепляет мир!**

БИЛЛ. Зато сегодня оно здесь.

АЛЬБЕРТ. Не очень-то хорошо так поступать.

ТОМ. Знаем. А мы и намерены поступать с тобой плохо.

БИЛЛ. Убирайся, ниггер!

Входит м-р Бэст.

М-р БЭСТ. Как ты сказал?

ТОМ. Мы просто шутили...

М-р БЭСТ. Я надеюсь, вы извинитесь.

ТОМ. В чем?

М-р БЭСТ. В том, что преследовали его.

ТОМ. Ладно... Извиняюсь...

М-р БЭСТ. Не так. Скажите: я очень сожалею, Альберт. Я больше так не буду.

ТОМ. Я очень сожалею, Альберт. Я больше так не буду...

БИЛЛ. Я очень сожалею, Альберт. Я больше не буду...

М-р БЭСТ. Вот так-то лучше. И больше не повторяйте.

М-р Бэст уходит.

БИЛЛ **(бежит к двери и прислушивается)**. Порядок. Он ушел.

ТОМ. А теперь убирайся, ниггер!

АЛЬБЕРТ. Вы же не сдержали слова!

ТОМ **(хохочет)**. А ты воображал, что мы его сдержим?

БИЛЛ. Кому сказано? Убирайся!

АЛЬБЕРТ. Ладно же! **(Выбегает.)**

Сцена II

Та же комната. Утро. Перед уроками Том и Билл со скучающим видом слоняются по комнате.

ТОМ. Слушай. Никого нет, кроме нас. Что если улизнуть с уроков и поиграть в зарослях?

БИЛЛ. Я голосую «за».

Бегут к дверям. Навстречу Альберт.

ТОМ. Эй ты, ниггер! Мы удираем играть в заросли. Не вздумай ябедничать.

АЛЬБЕРТ. Я не скажу.

БИЛЛ. Тем лучше для тебя.

АЛЬБЕРТ. Я дал слово и не скажу.

Том и Билл уходят.

ДЕЙСТВИЕ IV

Сцена I

Класс. За партами сидят ребята. Входит м-р Бэст.

М-р БЭСТ. Доброго утра!

КЛАСС **(вставая)**. Доброго утра, мистер Бэст!

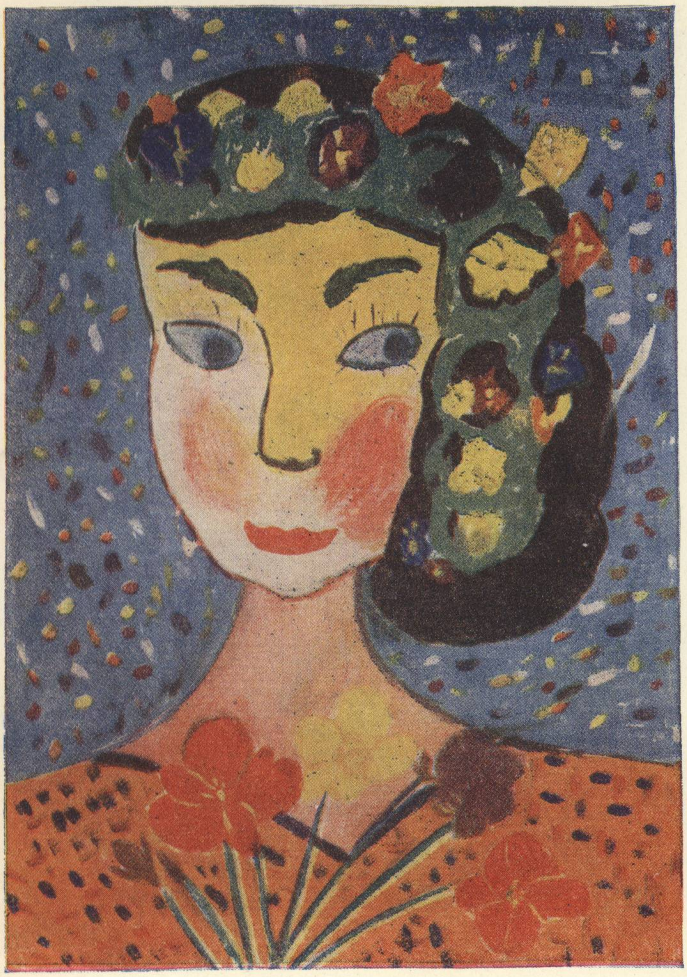
М-р БЭСТ. Мальчики, мне тяжело говорить вам это, но Том Джэкс и Билл Хэндри исчезли. Они не ночевали дома. Вероятно, заблуди-

[1] Оскорбительная для темнокожих людей кличка.



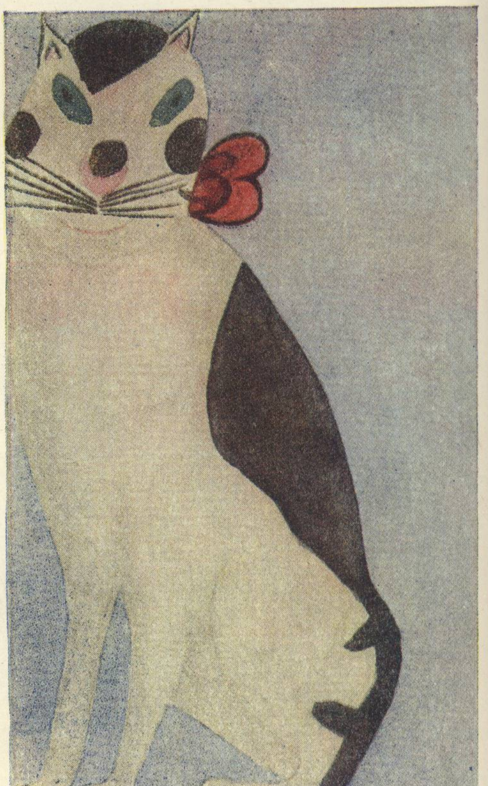
1 МАЯ

Ирина Новоткина. Чехословакия.



Эти рисунки югославских ребят мы получили из редакции детского журнала «ЗМАЙ» (Югославия). Наверху вы видите рисунок Татьяны Трушин «В праздник». Внизу — «Поселок на Луне» Светозара Никетича и «Кошка» Михаила Джуича.



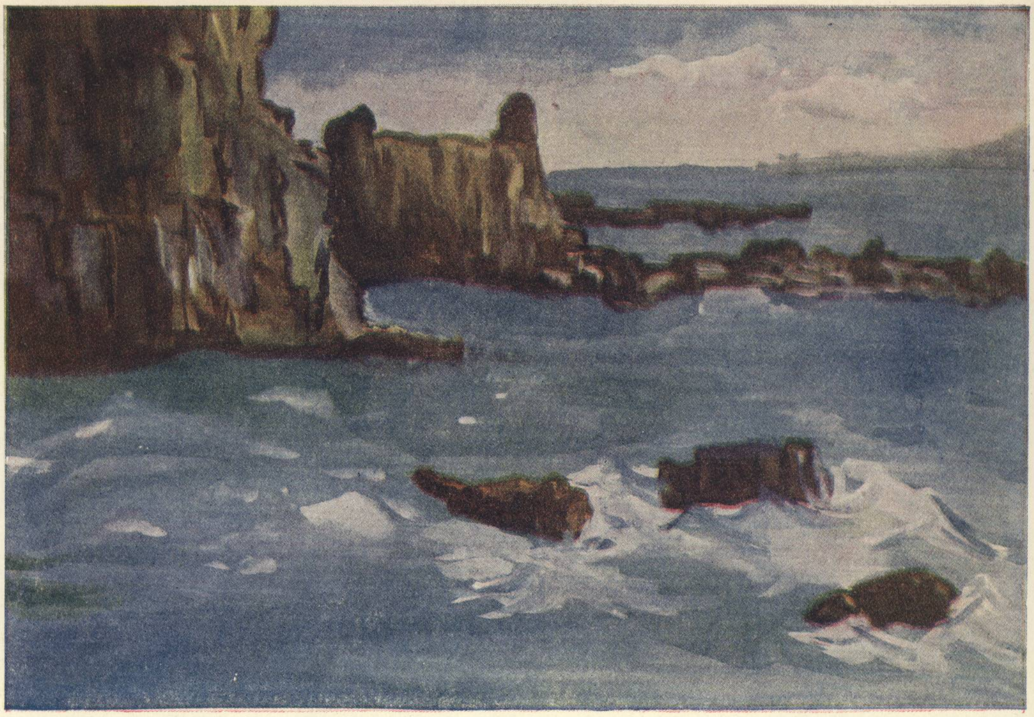




ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ. **Кесела Анафу.** Эфиопия.

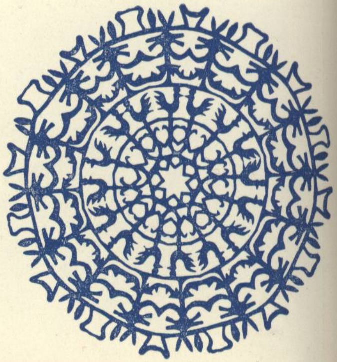


ПОМЕЩИЦА. **Метасебиа Демесси.** Эфиопия.



СИНЕЕ МОРЕ. Исао Китагава. Япония.







ПРАЗДНИЧНЫЕ НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ (АППЛИКАЦИЯ). СПРАВА — УЗОРЫ, ВЫРЕЗАННЫЕ ИЗ БУМАГИ.

Барбара Котецкая. Польша.

лись в зарослях. Полиция ведет поиски. У мальчиков никаких запасов пищи, кроме школьных завтраков. Полиция нашла построенный ими шалаш, но они, по-видимому, углубились дальше в заросли и заблудились.

Стук в дверь. Поспешно входит мальчик.

МАЛЬЧИК. Сэр, видели, как Альберт Рамменарра ушел в заросли, где полиция вела поиски. Полиция прекратила поиски, считая их безнадежными. Но Рамменарра не вернулся.

АЛЭН. А может быть, Альберт нашел их и теперь старается вынести из зарослей?

М-р БЭСТ. Но как? Он же не может их нести. И сутки без воды...

АЛЭН. Ночью был такой страшный холод! А у них — ничего, чтобы согреться...

Шум пробегает по классу. Распахивается дверь, вбегает мальчик.

МАЛЬЧИК. Они спасены. Альберт вывел их!

КЛАСС (дружно). Урраа!! Урра Альберту!

Сцена II

Та же комната. Неделей позже. Альберт сидит, читает. Входят Билл и Том.

ТОМ, БИЛЛ. Альберт!

АЛЬБЕРТ. Да?

Входят Алэн и Джим.

ДЖИМ. Давайте кончать. Самое время идти по домам. Десять минут четвертого.

АЛЬБЕРТ. О-ой! Я должен быть дома ровно в четыре!

АЛЭН. Ты не успеешь.

ТОМ. Альберт, ты умеешь ездить на вело?

АЛЬБЕРТ. Только не на двухколесном.

ТОМ. Тогда я сам подвезу тебя...

ДЖИМ. Однако! Это приключение с зарослями совсем тебя изменило...

ТОМ. Пора мне было поумнеть!

БИЛЛ. И мне. Делаю заявку подвозить Альберта на завтра.

Все смеются.

ТОМ. А ты сделаешь нас следопытами?

АЛЬБЕРТ. Конечно.

ДЖИМ. Итак, дружба?

ТОМ, БИЛЛ. Дружба! Дружба!

Занавес.



С берегов Нила

Дорогая Галя!

Ты спрашиваешь, что значит «Гиза». «Гиза» ничего не значит, это — просто название города близ Каира. Я в этом городе и живу, а не в Каире. Не помню: писал ли я о себе? У меня четыре сестры и два брата.

Я люблю играть в пинг-понг, когда есть свободное время. И хожу в кино. И читаю книги.

Я очень хотел увидеть спутник, но мне это пока не удалось.

Долго не отвечал тебе, потому что был болен. Когда пришло твое письмо, я был очень счастлив, но писать не мог, а теперь наконец взял перо, чтобы написать, что я считаю тебя своим лучшим другом до конца жизни.

Отвечаю на твои вопросы. В египетской школе учебный год длится восемь месяцев. Самая лучшая оценка — 10, а плохая — 4 или 3. Я изучаю арабский, английский, французский, математику, биологию, химию и физику.

Теперь я расскажу немного о моем народе. Мужчины у нас сильные и трудолюбивые. Они не боятся работы и не любят безделья. Египетские девушки очень красивы. У них блестящие волосы, глаза коричневые или синие. У деревенских девушек длинные косы, и только городские девушки ходят подстриженные...

Ты спрашиваешь про снег. Я его никогда не видел, потому что в нашей стране теплый климат. Галя, присылай мне побольше картинок о вашей стране!

Русские слова, которые ты написала в своем письме, я не все смог понять. Но это так мило! Пожалуйста, посылай в каждом письме несколько русских слов, которые мне легко прочитать, понять и запомнить.

Дорогой Друг! Спасибо за помощь.

Я изучаю русский язык. Досвиданья.

صديقتي العزيزة! أشكرك على مساعدتك.

إنني أتعلم اللغة الروسية. إلى اللقاء!

Теперь я сам напишу тебе несколько русских слов. А внизу перевод на арабский язык. Только имей в виду, что по-арабски надо читать наоборот: справа налево.

Хассиб. Египет.

«Тайный Сигнал Барабанщика» или как я вёл Дневник



Повесть Анатолия **АЛЕКСИНА.**

Рисунки **А. Брея.**

(Продолжение)

2 декабря

Моя парта стоит у самого окна, и мне было хорошо видно, как сперва прямо напротив школы появилась красная кирпичная коробка — всего в какой-нибудь метр высотой. Потом коробка стала расти, расти — и вот уже обогнала наш второй этаж, потом и третий, а потом и всю нашу школу переросла. И вот наконец дом построен! Его оштукатурили, словно в новое белое платье одели,— и он сразу стал красивым. И каким-то таким чистеньким, что к нему и подходить было страшно, а вдруг дотронешься до стены — и след останется! Стены-то дома были очень чистыми, прямо белоснежными, а вот вокруг него и внутри скопилось столько строительного мусора, что, казалось, и за месяц не вывезешь!

И вот мы решили устроить субботник по очистке дома. Вернее сказать, это был не субботник, а «вторничник», потому что дело было во вторник. Но все говорили: «У нас сегодня субботник! У нас субботник!»,— хотя до субботы оставалось еще целых четыре дня.

Я первый раз был в новом и еще не заселенном доме. Ходил по комнатам и все думал: а кто, интересно, будет жить вот в этой комнате? Может, какой-нибудь старый ученый, каких в пьесах часто показывают, а может быть, целая семья — отец, и мама, и сын. И этот самый сын, может, будет в нашу школу ходить и даже в наш класс! А вдруг!.. И вот они будут жить здесь долго-долго, и дом уже постареет, его будут ремонтировать, и никто не будет знать, что самыми первыми побывали в этой комнате мы, ребята из 6-го класса «В»!.. А что, интересно, будет стоять у этой вот стены: тахта, или, может быть, стол, или пианино? А что повесят сюда вот, между окнами?..

Я так долго мечтал, что председатель совета отряда Толя Буланчиков сделал мне замечание:

— Ты сюда работать пришел или на экскурсию?

И я стал работать!

Было решено, что для облегчения женского труда носилки будут таскать пионер и пионерка: парень — впереди, а девчонка — сзади.

Мне досталось работать с Наташей Мазуриной. Как я уже, кажется, говорил, это самая сознательная девочка в нашем классе. Если учительница задает на дом две задачки, то Наташа решает три или даже четыре, по своей собственной воле. И учебник истории она, кажется, уже прочла весь до конца и сейчас изучает его уже по второму разу. Представляете себе, каково мне было работать с этой Наташей! Она то и дело поправляла меня: то я носилки не так держу, то пол где-то поцарапал, то стекла протираю слишком сильно, и они, по ее мнению, могут выдавиться...

К концу работы я очень устал, но вовсе не от носилок и не от работы, а от нудного Наташиного голоса. Как только позади раздавалось ее знаменитое «И не совестно!», лоб мой сразу становился мокрым. Один раз мы устроили отдых. И тогда Наташа Мазурина задумчиво сказала:

— А хорошо бы украсить чем-нибудь эти комнаты к приезду жильцов!

— Ну да-а...— возразил Нытик.— Им и новые квартиры, им и подарки тоже...

— Тебе не совестно?! — воскликнула Наташа. Но Витьке не было совестно, и она замолчала.

— А что мы можем подарить, ребята? Давайте вместе подумаем! — обратился к отряду Толя Буланчиков.

Мы все вместе подумали немного и все вместе ничего не придумали. И тогда снова взялись за носилки, лопаты и тряпки.

В самый разгар работы на весь дом раздался вдруг ужасный, прямо-таки душераздирающий крик. Я, конечно, сразу узнал голосок нашей Лельки Мухиной. Мы все помчались в соседнюю квартиру, где работала Лелька. Оказалось, что из кучи мусора выглянул кусок электрического провода, а Лелька почему-то решила, что это змея. Змея в новом доме! До этого могла додуматься, конечно, только наша Муха. Ах, почему я до сих пор не засунул ей в парту живого ужа?! Представляю себе, что будет! Или, может быть, этот уж к концу перемены окажется вновь в моей собственной парте, как и еж Борька? Чудеса, чудеса!..

В общем, мы во время своего «вторничного» субботника очистили от мусора только один первый этаж. А в доме-то еще целых шесть этажей! И зачем такие высокие дома строят!

3 декабря

Сегодня у нас в школе вывесили «молнию». И в ней через весь квадратный лист ватмана красный заголовок: «Ценная инициатива!». А чуть пониже синей краской: «Равняйтесь на

них!». Это на нас, значит, на наш отряд: на меня, на Толю Буланчикова, на Витика-Нытика и даже на Лельку Мухину... В «молнии» написано, что «все отряды должны подхватить этот славный почин и помочь строителям очистить все шесть этажей от мусора и стройматериалов!»

«Молния» сверкнула так ярко, что прямо ослепила всех наших ребят,— они ходят по коридору гордые, задрав носы, а все их нахваливают. Все говорят: «Молодцы!», «Настоящие тимуровцы!» — и все такое прочее. Даже строгий учитель истории заявил, что мы, устроив субботник, «оказались достойными наследниками лучших традиций своих отцов»! Вот как здорово!

И никто, конечно, не догадывается, что все это вовсе не наш «славный почин» и не наша «славная инициатива», а выдумка какого-то неизвестного мне человека, который отпечатал на пишущей машинке и сунул мне в парту маленькую записочку и который поставил вместо своего имени три непонятные буквы: «ТСБ».

6 декабря

Есть в нашем отряде кружок «Умелые руки». В него записались все ребята: и те, у кого умелые руки, и те, у кого неумелые, тоже. Это Толя Буланчиков так решил, что все должны записаться.

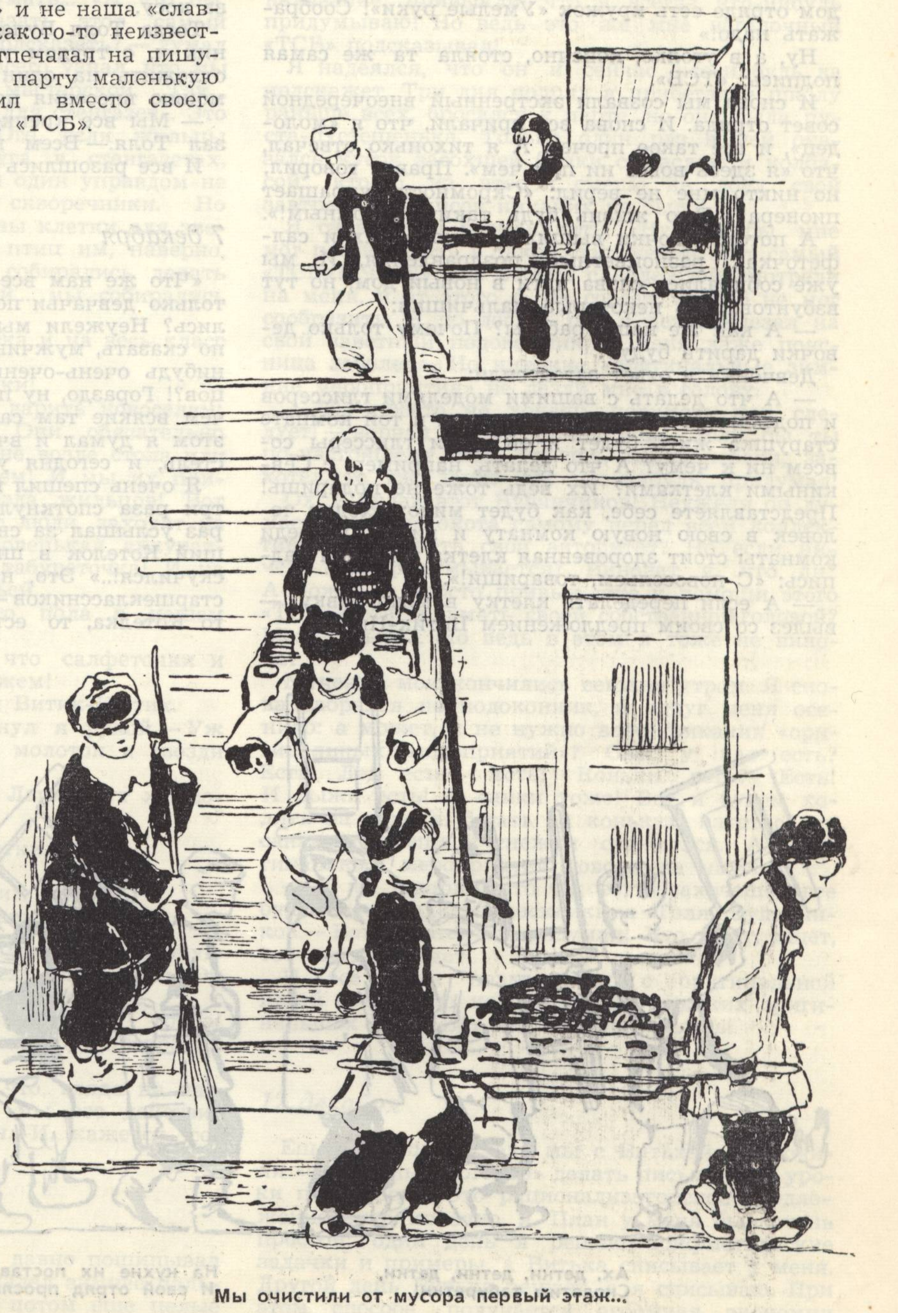
— Каждый нормальный человек должен что-нибудь уметь, — сказал Толя.— И вообще пусть умелые влияют на неумелых!

Толя был прав: каждый нормальный человек что-нибудь да умеет. Вот я, например, сколачивал клетки для нашего живого уголка, а Витик-Нытик мне гвозди и молоток подавал, он это умеет!

А потом, когда в пионерской комнате выставку устраивали, на моих деревянных клетках оказались таблички с такой надписью: «Работа пионеров Вити Бородкина и Севы Котлова». Витька вдруг впереди меня очутился, потому что он по алфавиту раньше идет.

Больше всего на выставке было девчачьих работ: вышивки, вязанья, салфеточки, наволочки всякие и прочая ерунда. Это я тогда, когда выставку смотрел, думал, что ерунда. А потом... Прибегаю я однажды в класс после второй перемены (это была именно вторая перемена, потому что Дима сверху, со своего четвертого этажа, мне деньги на завтрак приносил и я успел в буфет сбегать), сажусь на скамейку, лезу в парту за тетрадкой, и вдруг рука моя натыкается на что-то колючее. «Ах, черт! — думаю.— Неужели наш Борька-нигилист оставил в парте свою иголку?» Подул на палец, открыл крышку и вижу: разломанным напополам перышком приколота записка.

Опять записка! И опять на пишущей машинке напечатанная! А напечатано в ней было вот



Мы очистили от мусора первый этаж...

что: «Медленно у тебя, Котлов, в башке подшипники крутятся и не в ту сторону. Если так и дальше пойдет, тебя неминуемо из Котелка в Кастрюлю переименуют! А теперь читай внимательно!.. Не знаете вы, куда девать изделия своего кружка «Умелые руки». Догадаться не можете? Свалили их все в шкаф, и они там гниют себе на здоровье, моль ими питается. А разве не лучше подарить все это людям, которые в новый дом вселятся? Положите в каждую комнату коврики, вязанья, салфеточки... И пусть девочки вышьют на каждом подарке цветными нитками: «С новосельем, товарищи!». Разве плохо будет? А если у вас подарков не хватит, грбосьте клич на всю школу: ведь почти в каждом отряде есть кружок «Умелые руки»! Соображать надо!»

Ну, а в уголке, конечно, стояла та же самая подпись: «ТСБ».

И снова мы созвали экстренный внеочередной совет отряда. И снова все кричали, что я «молодец», и все такое прочее. А я тихонько отвечал, что «я здесь вовсе ни при чем». Правду говорил, но никто мне не верил: «Скромность украшает пионера!.. Всю жизнь будь таким скромным!».

А потом девочки вышили на ковриках и салфеточках разноцветные поздравления. И мы уже собирались снова идти в новый дом, но тут взбунтовались некоторые мальчишки:

— А как же наши работы? Почему только девочки дарить будут?

Девчонки в ответ заголосили:

— А что делать с вашими моделями глиссеров и подъемных кранов? Может, вон в той комнате старушка жить будет и ей ваши глиссеры совсем ни к чему? А что делать, например, с Севкиными клетками? Их ведь тоже не подаришь! Представляете себе, как будет мило: входит человек в свою новую комнату и видит: посреди комнаты стоит здоровенная клетка и на ней надпись: «С новосельем, товарищи!».

— А если переделать клетку в мышеловку? — вылез со своим предложением Витик-Нытик.

— Как тебе не совестно?! — вскрикнула Наташа Мазурина.— Разве в новых домах бывают мыши?! Мыши и клопы — это пережиток прошлого, понятно?

Мы, мальчишки, сказали, что без наших подарков дело не пойдет. А девчонки сказали, что они тогда одни, без нас, пойдут в новый дом и разложат свои коврики. А мы тогда сказали, что расставим возле дома посты и не пропустим их. А Наташа Мазурина сказала, что в нас тоже сидят пережитки прошлого...

— Ты хочешь сказать, что там сидят клопы и мыши?! — грозно спросил Коля Тимохин, самый сильный у нас в классе в смысле мускулов и самый слабый в смысле учебы. И дернул Наташу за косу.

Тогда Толя Буланчиков забрался на подоконник и, с трудом установив тишину, предложил отложить на один день «торжественную церемонию внесения подарков в новый дом».

— Мы все крепко подумаем, как быть! — сказал Толя.— Всем коллективом подумаем!

И все разошлись по домам очень задумчивые...

7 декабря

«Что же нам все-таки сделать, чтобы не одни только девчачьи подарки в новом доме красовались? Неужели мы, мальчишки, будущие, можно сказать, мужчины, не сможем соорудить что-нибудь очень-очень нужное для новых жильцов?! Гораздо, ну прямо в сто раз более нужное, чем всякие там салфеточки и подушечки?!» Об этом я думал и вчера вечером, когда лег в постель, и сегодня утром, когда бежал в школу.

Я очень спешил в класс, так спешил, что даже три раза споткнулся на ровном месте. И один раз услышал за своей спиной: «Ишь, как младший Котелок в школу катится! По урокам соскучился!..» Это, наверно, сказал кто-нибудь из старшеклассников — из тех, кто знал и старшего Котелка, то есть нашего Диму. В школу я



Ах, детки, детки, детки,
Сколотим табуретки!

На кухне их поставим
И свой отряд прославим!

и правда бежал очень быстро, но вовсе не потому, что соскучился по урокам. Нет, я просто был уверен, что в парте меня ждет очередная записка от этого таинственного «ТСБ». Уж он-то подскажет нам выход из положения! Ни за что нельзя уступать девчонкам: они же потом до самого десятого класса будут насмехаться над нами.

Я подлетел к своей парте, отбросил крышку, но никакой записки там не оказалось. Не было там записки от «ТСБ»!

До урока было еще долго. Забравшись на подоконник (я заметил, что именно там, на подоконнике, мне в голову приходят самые гениальные мысли!), я стал думать... «А что бы, интересно, мог мне подсказать этот самый «ТСБ», если бы он хотел подсказать? — думал я.— Он бы, наверно, прежде всего узнал, что мы умеем делать в столярной мастерской. Так... А что мы там делаем? Доски для стенгазет... Это новым жильцам не нужно! Ого, если жильцы начнут критиковать друг друга в стенгазетах, такая каша заварится, что ни один управдом не расхлебает! Еще мы делаем скворечники. Но если новым жильцам не нужны клетки для зверей, так и скворечники для птиц им, наверно, тоже ни к чему. А еще мы собирались делать в своей столярной мастерской... мы собирались делать...».

Тут я соскочил с подоконника и на весь класс заорал:

— Табуретки! Ура! Табуретки!

Ну, конечно! Вот что надо дарить новоселам: табуретки! Они всем нужны! Они обязательно должны стоять в каждой кухне возле стола или возле плиты. И мы их сделаем! И мы их принесем на кухню еще до приезда жильцов! Вот сюрприз-то будет! Приезжают люди, заходят на кухню и вдруг видят: стоит новенькая, аккуратненькая, такая симпатичная табуреточка! И на другой кухне тоже и на третьей...

Все представители мужского пола в нашем классе поддержали мой план:

— Это будет дело! Не то что салфеточки и коврики! Мы девчонкам докажем!

— Мы докажем! — кричал и Витик-Нытик.

— Молчи уж лучше,— махнул я рукой.— Уж ты докажешь! Опять будешь молоток и гвозди подавать, да?

Наш отрядный поэт Тимка Лапин тут же сочинил песенку:

Ах, детки, детки, детки,
Сколотим табуретки!
На кухне их поставим
И свой отряд прославим!

На перемене мы все помчались в столярную мастерскую и изложили учителю свой план. Он просто в себя не мог прийти от радости.

— Наконец-то вы оценили уроки труда! Труд — это великое дело, ребята! Труд превратил обезьяну в человека!..

А мы в ответ так галдели, что, глядя на нас, можно было твердо сказать: мы все действительно произошли от обезьян. И, кажется, совсем недавно...

10 декабря

Вот и наступила зима!

Вообще-то говоря, мороз уж давно пощипывал лицо и руки, и я уже давно надел зимнее пальто и шапку-ушанку, которые потом еще целые пять дней пахли нафталином. Но снега все не было и не было. А зима без снега — это, по-моему, не настоящая зима. И вдруг позавчера утром я увидел, что наши подоконники будто заросли белым мохом, и улицы побелели, и все деревья во дворе стали седыми. В воздухе кружились мохнатые звездочки. И хоть на улице сразу потеплело, я сказал: «Пришла наконец моя любимая зимушка-зима!»

Толя Буланчиков, а за ним и все ребята в классе решили, что «нужно провести какое-нибудь очень оригинальное зимнее мероприятие». Такое, какого еще не было ни в одном отряде! И все тут же стали поглядывать на меня. Вот наказание: привыкли, что я всегда что-нибудь придумываю! Но ведь это же мне загадочный «ТСБ» подсказывал!

Я надеялся, что он и сейчас что-нибудь да подскажет. Три дня подряд я прибегал в школу раньше всех, бросался к парте, но она была пуста-пустешенька. Только один раз в ней оказался кусок засохшей булки с маслом и колбасой: кто-то из второй смены не доел свой завтрак. А записок никаких не было!

Я снова стал размышлять: «Ну что бы мне мог посоветовать в таком положении этот самый «ТСБ»? Что?!» Все ребята с надеждой смотрели на меня, и от этого я уж совсем ничего не мог сообразить. Я по десять раз в день залезал на свой заветный подоконник, у меня даже поясница заболела. Но никакие «оригинальные зимние мероприятия» не лезли мне в голову.

— Ты просто не хочешь подумать как следует! — ворчал Толя Буланчиков.— Если бы ты по-настоящему, так, знаешь, по-пионерски, захотел, то уж давно бы что-нибудь придумал!

Ох, и чудак этот Буланчиков! Неужели он думает, что мне охота самому перед всем коллективом подрывать свой авторитет? Но если ничего не придумывается? Виноват я, что ли? А может, я просто привык уже к помощи этого «ТСБ» и отвык думать своей собственной головой? Может быть... Но ведь в этом я тоже не виноват.

Мучения мои кончились сегодня утром. Я снова забрался на подоконник, и вдруг меня осенило: а может, и не нужно вовсе никаких «оригинальных мероприятий»? Снег у нас есть? Есть! Лед есть? Есть! Коньки есть? Есть! И лыжи есть! И санки тоже! Вот и будем ходить на лыжах, бегать на коньках, кататься на санках! Да еще в снежки сражаться. А оригинальных мероприятий совсем не надо!

— Я же говорил, что ты если захочешь, все будет в порядке! — воскликнул Толя Буланчиков.— Вот захотел и придумал! Кто, брат, ищет, тот всегда найдет!

И все меня поздравляли с оригинальной идеей о том, что не нужно нам никаких оригинальных идей. Вот как оно получилось!

12 декабря

Еще в прошлом году мы с Витькой заключили «священный договор» делать письменные уроки по очереди. Это рационализаторское предложение внес, конечно, я. План у меня был очень простой: один день я решаю арифметические задачки и примеры, а Витька списывает у меня. Другой день Витька решает, а я списываю. При этом способе получается огромная экономия

времени. А за счет сбереженных таким образом минут и даже часов можно побегать на коньках, погонять футбольный мяч, почитать книжку и просто поваляться на диване.

Мы бы, конечно, хотели точно так же поступать и с устными уроками: один день по всем предметам отвечаю только я, а другой день — Витька. Этот план, однако, был невыполним: учителя бы никогда не оценили его и не позволили провести в жизнь.

Но письменные домашние задания мы целые полгода делали так, как договорились. И все шло очень хорошо, просто отлично!

Но вот вчера случилось что-то непонятное. Утром, еще до школы, папа, вынимая из почтового ящика газету, сказал:

— Тебе письмо, Сева. И какое-то странное. Первоклассник его писал, что ли?

И правда, адрес был написан крупными печатными буквами, как пишут ребята-первоклассники. Но ошибок ни в адресе, ни в имени и фамилии не было. Значит, писал не такой уж первоклассник!

Соседка Калерия Владимировна, та самая, муж которой, «агроном по образованию», называл меня иногда Севооборотом, а иногда Севообормотом, ехидно сказала старушке-пенсионерке, тете Паше:

— Наш-то кавалер уже стал письма получать!

— А вы уже перестали получать? Завидно, небось? — не поднимая головы от кастрюли, ответила тетя Паша.

И мне, честное слово, хотелось расцеловать ее!

Я быстро надорвал конверт и увидел, что внутри лежит небольшой белый листок, а на нем такими же печатными буквами написано: «Дорогой Сева! Я ничего не могу объяснить тебе подробно, но только знай: я расторгаю наш «священный договор». Теперь я буду готовить письменные задания сам. Каждый день сам! И ты делай сам. Это необходимо! Ни о чем меня не спрашивай. Я тебе сейчас ничего не могу объяснить. И вообще не разговаривай со мной целых пятнадцать дней с момента получения этого письма. Если только заговоришь, плохо нам обоим придется! Потом все объясню. И почему пишу печатными буквами, тоже объясню. Твой верный друг Витя!»

Верный! И он еще смеет так называть себя, этот несчастный Нытик! Нарушил священный договор — и хоть бы хны! Теперь придется каждый день корпеть над задачками и примерами. А как раньше было хорошо! Как много было свободного времени!

Так думал я, разрывая на мелкие кусочки Витькино письмо и выбрасывая его в форточку. Я поклялся не прощать Витьке его коварства никогда и жестоко отомстить ему при первом же удобном случае.

В школе я не проронил с Нытиком ни единого слова. И он все время от меня отворачивался. А когда мы случайно встречались глазами, его лицо становилось жалобным-жалобным.

«Ничего,— думал я,— еще не так жалобно взглянешь, когда испытаешь на себе мою беспощадную месть!» Но как отомстить?

13 декабря

Ура! Я придумал план кровавой мести неверному Нытику!

За коварство я отплачу коварством!

Как я уже писал раньше, мы с Витькой жили в одном доме, а письменные уроки каждый из нас делал через день,— значит, нам нужен был только один задачник по арифметике. У нас и был один задачник: мой! А Витька свою «Березанскую» отнес как-то, в самом начале учебного года, в букинистический магазин, потому что в тот трагический, как теперь оказалось, день у него не хватило денег на кино.

Что же оставалось делать несчастному Нытику сейчас, когда он так предательски и, как пишут в газетах и в нашем учебнике истории, «односторонне» разорвал священный договор?

Ровно в 3 часа 40 минут дня по телефону позвонила младшая Витькина сестренка, первоклассница, по прозвищу Кнопка. Она пропищала в трубку:

— Витя очень просит тебя, Сева, дать ему задачник.

Я услышал, как Витька довольно-таки громким шепотом подсказывает ей:

— Всего на полчаса! Только на полчасика!

— Он просит задачник всего на полчасика,— послушно повторила Кнопка.

— Ха-ха-ха!— рассмеялся я в самую трубку.— Скажи своему дорогому братцу Витеньке, что он еще ни разу в жизни не смог решить задачку не только за полчаса, но даже и за час. А сегодня задачи очень трудные.

Витька воспитывал Кнопку в высоком уважении к своей персоне. И поэтому младшая сестренка очень оскорбилась за своего старшего брата.

— Сам ты не можешь решить! А наш Витя все может!..

— Если будешь грубить старшим, совсем не получишь задачник,— строго предупредил я.

В трубке послышалось какое-то шуршание — это Витька на другом конце провода воспитывал свою сестренку. Он, наверно, нашептал ей, чтобы она была повежливее, а то он, бедный, может остаться на сегодня без задачника. Перевоспитанная Кнопка заговорила по-другому:

— Спасибо тебе, Сева, за учебник! Я зайду за ним.

— Не раньше чем через полчаса! — воскликнул я, потому что именно в ту минуту мне пришел в голову план кровавой мести. Раздумывать было некогда, и потому план показался мне просто великолепным. «Нет, напрасно думает этот «ТСБ», что мои подшипники медленно крутятся; я еще кое-что соображаю! — так думал я, потирая руки от восторга.— Ага, Витенька, мой бывший дружок-приятель, ты нарушил наш договор, ты воротишь от меня свою унылую физиономию, ты даже по телефону не желаешь со мной разговаривать, так я же отомщу тебе за все это коварство!»

Вот что я придумал! Скажу Кнопке, что задачник сегодня дать не могу: он, дескать, мне самому очень нужен,— а Витьке пошлю готовое решение задач. Знаю я его натуру! Хоть он и стал таким, сверх всякой меры сознательным, но, если увидит у себя под носом готовое решение задач да еще взглянет в это время во двор, где ребята будут строить ледяную крепость, не выдержит, все аккуратненько перепишет в свою тетрадочку. Перепишет, да не то, что нужно! Потому что я пошлю ему вместо настоящих решений всякую ерундистику, над которой весь класс завтра хохотать будет.

Нам задали на дом две задачки. Одна из них рассказывала о бассейне, который наполняется



Вот будет потеха, когда Витька начнет описывать птицеферму!

водой сразу через три трубы. Нужно было выяснить, за какое бремя бассейн наполнится до краев, если открыть вторую трубу через пятнадцать минут после первой, а третью—через пятнадцать минут после второй. Вот что нужно было узнать на самом деле! Но Витька-то этого не подозревает, потому что он не читал задачку, даже в глаза ее не видел. А я ему пошлю решения не про трубы и не про бассейн, а про что-нибудь совсем противоположное... Но про что именно? На столе лежала газета, а в ней была фотография: знатная птичница на птицеферме, в окружении белых кур и петухов. Я бросился к своему столу, вырвал из тетрадки двойной листок в клеточку и написал на нем:

«Первый вопрос. Сколько яиц снесет курица в первый день?

Второй вопрос. Сколько яиц она снесет во второй день?

Третий вопрос. Сколько яиц снесут все птицы на ферме за месяц (не считая, конечно, петухов)?»

И какие-то вычисления в цифрах произвел. Вот уж будет потеха, когда Витька вместо бассейна с трубами начнет описывать птицеферму с курами! Все подумают, что он сумасшедший. Ребята будут на полу от хохота лежать. Узнает Витенька, как расторгать священные договоры!

Вторая задачка, которую нам задали, рассказывала о двух путниках (не о двух спутниках, а о двух путниках!), которые вышли навстречу друг другу из пунктов «А» и «Б». Нужно было узнать, когда и где они, исходя из размера пути и скорости движения, встретятся.

«Какие бы вопросы придумать вместо этого?» — стал размышлять я. Переворошил все газетные листы, но никаких интересных фотоснимков больше не нашел. А надо было торопиться: вот-вот зазвонит звонок и явится Кнопка. И тогда я вдруг вспомнил про наши знаменитые табуретки. Вопросы несуществующей задачи придумались как-то сразу:

«1. Сколько табуреток нужно поставить одну на другую, чтобы, исходя из размеров комнаты, достичь потолка?

2. Сколько табурсток можно поставить одну на другую, чтобы, исходя из размеров дома, достать до крыши?»

Я быстро произвел некоторые расчеты в цифрах, написал решение и, как полагается, окончательный ответ задачи.

Я уверен, что Витька даже и сомневаться не станет в том, что это именно те самые задачки, которые задавали на дом. Во-первых, Витька не очень-то силен в математике, а во-вторых, ему уж очень хочется сегодня не опоздать во двор к торжественному моменту закладки ледяной крепости, которую ребята еще вчера решили назвать «Шипкой».

Вскоре раздался один коротенький звоночек: Витькина Кнопка, видно, еле-еле и лишь на секунду смогла дотянуться до другой кнопки — до той, которая была прямо над нашим почтовым ящиком.

Я схватил двойной листок в клеточку и побежал открывать.

— Витя не стал бы брать у тебя задачник... Но его завтра спросят,— сказала гордая Кнопка.

Я знал, что Витьку завтра спросят: наша математичка проверяла домашние задания по алфавиту. Сегодня она как раз остановилась на Нине Балбековой, значит, завтра очередь Нытика.

— Я не могу дать Вите задачник...

— Жалко, да? — Кнопка презрительно сморщила свой маленький курносый носик.

Мне стало немного не по себе. Глядя куда-то в сторону, на перила, я ответил:

— Нет, мне не жалко. Но просто... Просто у меня его нет. Задачника. Ну, я одолжил его одному товарищу... А вот передай брату эти две странички. Тут все есть... Он поймет!

Ох, и нелегко же далось мне это вранье!

Кнопка двумя пальчиками, словно брезгуя, взяла мои листки и сразу побежала вниз. Только уже с третьего этажа она крикнула: «Спасибо!» И это «спасибо» разнеслось по всем этажам. Знала бы Кнопка, за что́ она благодарила меня!

Но ничего. Этот урок пойдет на пользу ее старшему братцу! Узнает, как нарушать клятвы и договоры! Вот потеха-то будет завтра в классе, даже представить себе невозможно!

(Окончание в следующем номере)

Коррадо ГОВОНИ

Перевел с итальянского
А. Янов

НИЩИЙ

Зимою носил я проклятые башмаки,
обыкновенно с чужой ноги,
разбухшие от шлепанья по лужам
и приводившие дворников в ужас:
господи, спаси христианскую душу!
Зато элегантную обувь носил я летом,
без износу,
телесного модного цвета,
из собственной кожи,
дубленой, прочной,
и сшитую по мерке
точно.

Котомка, кисет
для подобранных мною окурков,
недоеденная вчерашняя булка,
карманы, зловонные, как шелудивый пес,
гитара и старое сердце —
вот все, что с собою я нес.
В августе светом луны я укутывал ноги,
в холодные ночи подкладывал сена охапку,
по утрам любовался красивым узором,
что инеей оставил
на куртке моей и шапке...
В каждой беде находил я приятную сторону:
я был веселым нищим, спору нет.

Единственный друг мой
был со мною всегда,
неотвязный, как пес,
со мной останавливался у фонаря...
Я тебя полюбил
за проведенные вместе года,
единственный друг мой —
тень моя.
И тот, кто бросал
пару грязных монет мне в руку
(я подхватывал их на лету, как муху),
тот не видел, своим уходя путем,
как плясала от радости
тень моя
под фонарем.
Но однажды меня притащили в больницу,
заставляли умыться;
меня,
воду из туч лишь знавшего,
уложили в кровать,
чтоб хотя бы в последний свой путь
я отправился по-людски;
мне было не страшно,
я был веселым нищим
до гробовой доски.
Но и в смертный свой час
с проклятой привычкой не смог совладать я.
И мертвым
меня нашли под кроватью...



ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ

Солдатики, солдатики оловянные,
с амуницией, с барабанами,
на лошадках верхом и пешие,
как я в детстве любил вас, грешен я!
И запомнился до сих пор мне
тот солдатик в немецкой форме,
представительный, чистого олова,
с плоской каской своей тяжелою.
Рядом с ним я казался, помню,
на коленях стоя,
огромным.
Но любил я того солдатика
просто так,
как младшего братика...
А сейчас, когда в глотке застряли слова
и меня из набитого трупами рва
выволакивают за волосы,
чтобы снова к стенке поставить,
я его узнаю
в том огромном, усатом, бравом,
в том солдате, что целится в сердце мне,
я его узнаю:
он! Тот самый!
С глазами, как пуговки оловянные,
знакомыми мне глазами...
Ах, солдатики, конные, пешие,
как я в детстве любил вас, грешен я!



КАМЕНЩИК

Тобою издали я любоваться мог,
и на лесах, на сеть похожих, зыбких,
облитый солнцем с головы до ног,
ты мне казался золотою рыбкой.
Вблизи ты худощав был и могуч,
как бог античный,
мускулист и строен;
ты кирпичи, казалось, клал
до туч,
и тучи отступали пред тобою;
ты был вплетен, как мускул, как сустав,
в стальные мышцы черной арматуры...
Я не узнал тебя,
когда, устав,
ты шел с работы, сгорбившийся, хмурый,
когда сидел ты за своим столом
под пыльной, прохудившеюся крышей.
Так вот, веселый каменщик,
твой
дом
с голодными глазами ребятишек,
разбитым и не вставленным стеклом,
с развешанным по комнате бельем
и с потолком —
его достать рукою...
Так для кого же ты хоромы строил?!

В МАМИНОМ ЦАРСТВЕ

Я помню, как в пылу ребячьих дел,
разгоряченный, я вбегал на кухню,
где суп, бунтуя, в котелке шумел
и на сковородах оладьи пухли.
В те дни фрегат я вырезал на парте,
и спать мне не давали вымпела,
и в мамином смешном кухонном царстве
жестокая романтика была.
Там уносил меня в мечтах от суши
своей лазурью мрачной баклажан,
как будто на печь брызнул океан
с зелеными прожилками петрушек.
И иногда казалось мне, что мама,
как капитан на мостике, одна,
среди кастрюль, кипящих, как волна,
ведет корабль к пристани упрямо.
Я глубь, казалось, видел до конца,
листок капустный превращался в краба...
А мать меня растила без отца,
она действительно вела корабль.



Кухня-корабль. Какой неожиданный и неожиданно глубокий образ!

Мог ли ты себе представить, что человек, живущий в чужой, далекой стране, знает про тебя и про твою маму что-то такое, чего не знаешь ты сам? А вот задумайся над стихотворением «В мамином царстве», которое ты только что прочел. Ведь правда же, оно сказало тебе что-то новое про твою маму, вечно хлопочущую около тебя, вечно занятую тем, чтобы облегчить тебе твои первые шаги? Через все жизненные «бури и шквалы» мужественно ведет она корабль твоего детства. И стоит ей это немало труда и здоровья.

У старейшего итальянского поэта Коррадо Говони за плечами больше пятидесяти лет творческой работы. Он написал много хороших стихов.

В годы войны Коррадо Говони резко выступал в своих стихах против германского фашизма. Когда Италия вышла из войны, немецкие войска оккупировали территорию своего бывшего союзника. Вот тогда-то, в 1944 году, Говони и написал стихотворение «Оловянные солдатики», которое вы здесь прочитали.

Оловянный солдат, о котором говорит поэт,— это фашист, гитлеровец, убийца с пустыми оловянными глазами и пустым оловянным сердцем.

Даже по тем нескольким стихам, которые вы здесь прочли, видно, что человек, написавший их, любит людей, любит жизнь и ненавидит смерть и войну. Этим и близок нам Коррадо Говони.

Б. САРНОВ

Рисунки Г. Филипповского.

Как я учился музыке

РАССКАЗ

I

В детстве я часто думал: как это несправедливо устроено, что человек может быть только самим собой!

Вот я, например. Неужели я так всю жизнь и буду Борькой Сазоновым?

А как здорово было бы, если б я мог хоть немножечко побыть кем-нибудь другим! Сегодня, например, Спартаком. Завтра — Александром Невским. А потом перенестись в девятнадцатый век и стать Пушкиным, или Дубровским, или еще кем-нибудь.

Я завидовал артистам. Мне казалось, что профессию эту люди придумали нарочно, чтобы обмануть природу, устроившую так, что человек должен всю жизнь пробыть самим собой. Ведь может Черкасов быть то царевичем Алексеем, то профессором Полежаевым, то длинным и смешным Паганелем.

Больше всего на свете я хотел бы стать артистом. Но для того, чтобы стать артистом, нужен талант. А у меня таланта нет, это я знал совершенно точно.

— Талант это труд, не раз говорила моей маме Эмма Эммануиловна, моя учительница музыки.— Все великие артисты были великими тружениками. А ваш Боря не любит и не умеет трудиться. Я вообще не знаю, любит ли он что-нибудь.



— Он любит читать,— с надеждой говорила мама.

Эмма Эммануиловна презрительно усмехалась, и ее голова с пышной, как парик, седой шевелюрой и величественным горбатым носом становилась похожей на профиль какого-то великого музыканта.

— Глотать книжки,— презрительно говорила она,— это самое легкое занятие. Лежать на диване и глотать книжки до одурения,— это может каждый болван.

Втайне мама, может быть, и не соглашалась с тем, что я болван, но в спор с Эммой Эммануиловной не вступала. То, что я учусь музыке, было для нее источником великой гордости.

— Ответь мне, Боря,— часто спрашивала меня Эмма Эммануиловна,— ты хочешь заниматься музыкой?

Я с тоской смотрел куда-то в сторону и отвечал:

— Мама хочет.

Это была сущая правда. Я учиться музыке не хотел. Хотела мама.

— Совершенно не важно, что ты никогда не будешь музыкантом,— говорила мне мама.— Вот я врач, но я всю жизнь жалею, что у моих родителей не было возможности учить меня музыке. Ведь это так приятно — уметь играть для себя!

Я не понимал, зачем мне для себя уметь играть упражнения и гаммы. Мысль, что на

рояле можно играть что-нибудь другое, даже не приходила мне в голову.

Каждый день, вернувшись из школы и пообедав, я должен был брать ноты и идти к нашим соседям Волковым, у которых стоял рояль и целый день никого не было дома, кроме старушки Марии Никифоровны. Мама просила Марию Никифоровну следить за тем, чтобы я ежедневно играл не меньше часа.

Я подходил к роялю и, не торопясь, начинал устанавливать черный вертящийся стульчик. Я вывинчивал его круглое сиденье чуть не до отказа и садился, примериваясь.

Почти всегда оказывалось, что стул слишком высок. Тогда я так же неспешно начинал вертеть его в обратную сторону.

Наконец стул был отрегулирован, и я усаживался.

В черной полированной поверхности рояля отражалось мое лицо, чудовищно вытянутое, удлиненное, с оттопыренными ушами и полуоткрытым ртом.

Смотреть на это лицо было смешно и интересно. Вдоволь насмотревшись, я ставил перед собой ноты и тупо начинал играть домажорную гамму, прислушиваясь к звонкам телефона в коридоре.

Каждую минуту с работы могла позвонить мама.

— Играет,— вполголоса говорила в трубку Мария Никифоровна.— Да как сказать. Часу не прошло, а полчаса верных.

После такого разговора я чувствовал себя спокойнее, торопливо «отрабатывал» оставшиеся мне полчаса, говорил старушке спасибо и убегал.

Так бы, наверно, все это и продолжалось, если бы я вскоре не сделал необыкновенно важного для меня открытия, сразу превратившего эти ежедневные унылые, томительные часы в счастливые, бешено мчащиеся мгновения.

Случилось это так.

Мой одноклассник Шурка Малышев дал мне почитать пухлую, растрепанную книгу. На старой газете, заменявшей ей обложку, чернильным карандашом было старательно выведено: «Дюма. Три мушкетера».

Шурка уверял, что книг лучше этой просто нет на свете. В книге было семьсот страниц. А дал он мне ее только на один день.

Я читал ее все шесть уроков. Я сидел за своей партой, изрезанной перочинным ножом и разукрашенной лиловыми чернильными потеками. Книга лежала на коленях. Иногда кто-нибудь вслух произносил мою фамилию. Я как во сне отвечал что-то про земноводных или про равнобедренные треугольники и снова возвращался к захватывающей истории о том, как молодой задиристый гасконец отправился в дальний путь на поиски счастья. Только и было у него — горячее гасконское солнце над головой, горячая гасконская пыль на ботфортах да старая отцовская шпага. Но ни один человек во всей Франции, будь это даже сам король, не мог безнаказанно оскорбить его насмешливым словом или насмешливым взглядом.

Придя домой, я, не отрывая глаз от страниц, наскоро проглотил оставленный мамой обед и с ужасом вспомнил, что надо идти к Волковым играть проклятые гаммы.

У меня не хватило мужества не пойти. Но оставить книгу дома я не мог. Я взял ее с собой.

Устанавливая на пюпитре ноты, я с ненавистью поглядывал на старушку Марию Никифоровну — единственного соглядатая моих ежедневных мучений. И вдруг я увидел, что она не обращает на меня никакого внимания.

Я вороватo поставил книгу на пюпитр и в то же мгновение перенесся в веселый город Париж, где меня ждали интриги кардинала Ришелье и коварной миледи.

«— Начнем, пожалуй,— сказал д'Артаньян, и восемь шпаг сверкнуло в воздухе».

Комната огласилась унылыми звуками домажорной гаммы. Но в моих ушах звучала другая музыка:



«— Над чем вы смеетесь, сударь? Скажите, и мы посмеемся вместе!..»

В этот день я понял, что старушка-соседка ничегошеньки не смыслит в том, что́ я играю и как я играю. Выполняя мамин наказ, она только взглядывает время от времени на часы, чтобы я, упаси господи, не кончил свой урок на десять минут раньше.

Это и было открытие, круто изменившее мою жизнь.

С этого дня соседка в разговорах с мамой не могла нахвалиться мною. Еще бы! Я стал отдавать музыке все свое свободное время.

Каждый день я ставил на пюпитр рояля новую книгу. Пальцы мои, привыкшие к безучастной, бессмысленной своей работе, терпеливо барабанили злополучную домажорную гамму, а я в это время на всех парусах мчался в Лондон, спасая жизнь и честь королевы Франции, скакал по прерии на диком мустанге и пил обжигающий горло ямайский ром в шумных матросских тавернах.

Я больше не завидовал Черкасову. Зачем? За одну только неделю я успел побыть д'Артаньяном и Робинзоном, Гулливером и Томом Сойером, Тилем Уленшпигелем и Саней Григорьевым, героем каверинских «Двух капитанов».

Я не преувеличиваю. Я не просто воображал себя Робинзоном. Я действительно был им.

Когда я сейчас пытаюсь вспомнить, о чем я думал и что чувствовал, вставая утром, торопливо съедая завтрак и убегая в школу, ничто не оживает в моей памяти. Но до сих пор я не забыл того чувства, с которым я, Робинзон, впервые увидел след голой человеческой ноги на песке моего острова. Сердце вдруг подпрыгнуло и упало, как бывает, когда летишь в лифте вниз с высокого этажа. Я отчетливо помню, с каким чувством я, Саня Григорьев, перечитывал старые, забытые письма. Помню, как похолодели руки и слабый ветер догадки шевельнул волосы у меня на голове: «Это о нем, о капитане Татаринове, Катькином отце». Но лучше всего я помню себя Джимом Гокинсом, юнгой Джимом из «Острова сокровищ» Стивенсона; карту старого Флинта, черную метку и попугая, который хрипло кричал: «Пиастры! Пиастры! Пиастры!»,— я помню лучше, чем свои учебники и альбомы с марками, лучше, чем нашего кота Мурзика.

Я жил словно под водой.

Иногда чей-нибудь голос выводил меня из этого сонного состояния:

— Внимательней, Сазонов! Если угол равен шестидесяти градусам...

— Боря, ты опять сегодня ел холодную котлету?

Я глядел на спрашивавших бессмысленными глазами человека, только что вынырнувшего из-под воды, невнятно мычал что-нибудь в ответ и снова погружался обратно, в свое подводное царство.

II

В школе я сидел на одной парте с Лидкой Баталовой.

Лидка была особенная, совсем непохожая на остальных наших девчонок. Может быть, нам это только казалось, потому что с другими девчонками мы учились шесть лет — с первого класса,— а Лидка пришла к нам прямо в шестой в середине учебного года.

Я очень хорошо помню, как она первый раз пришла в наш шестой «В». Она была в лыжных брюках, длинная, пожалуй, длиннее всех наших мальчишек. И она сразу показалась нам очень красивой.

Почти все девчонки в нашем классе были белобрысые. Только у Нины Ворониной и Маши Айзенберг были длинные черные косы. У Лидки волосы были не черные, но и не светлые. Я еще подумал тогда, что вот такие волосы и называют, наверно, красивым, пушистым словом «каштановые».

— Вот это да! — выразительно сказал о новой девчонке Левка Островский, смуглый красавец с темным, налезающим на глаза чубом.— Не то, что наши кислятины.

И он сразу подошел к Лидке и заговорил с ней о катке, о коньках, о лыжах. Я слышал, как они чему-то смеялись вместе. Потом Лидка громко сказала:

— Нет, Лева, у меня гаги.

У меня заныло сердце оттого, что она говорит с Левкой так, как будто всю жизнь просидела с ним на одной парте, а не только что впервые его увидела.

Я не разговаривал с Лидкой. Я даже не смотрел в ее сторону, делая вид, что она меня совершенно не интересует. Но мысленно я сразу, с того самого дня, как впервые ее увидел, сделал ее своим верным товарищем, спутником и участником всех моих приключений.

Когда я был Диком Шелтоном из «Черной стрелы», она была Джоанной Седли. Переодетая в мальчишескую одежду, рискуя жизнью, она пробиралась пустынными темными залами старого замка, чтобы вместе со мной встретить моего смертельного врага. Тесно прижавшись друг к другу, мы с ней ждали убийцу, идущего по тайному ходу. Я чувствовал, как дрожит ее тонкая рука, сжимающая кинжал, слышал, как бьется ее сердце.

Она была Катей, той самой Катей, за которой я, Саня Григорьев, поехал в Энск; той самой Катей, с которой я ходил на каток, где мы долго катались, взявшись за руки, и шел снег, и нам было хорошо.

О том, что можно и в самом деле пойти с Лидкой на каток, я и не помышлял. Мысль, что Лидка может пойти со мной на каток, как она ходила с Левкой Островским, с Шуркой Малышевым и с други-

ми ребятами из нашего класса,— одна только эта мысль привела меня в такое смущение, что я потом долго старался даже не вспоминать о ней.

Однажды наш математик и классный руководитель Матвей Матвеевич, которого мы с легкой руки старшеклассников звали Синус, уже не в первый раз обнаружив, что я весь урок напролет читаю какую-то книгу, сказал, как всегда негромко, слегка растягивая слова:

— У меня к тебе просьба, Сазонов. Собери свои книжки и пересядь к Баталовой, на первую парту.

Мне сразу стало жарко. Мое лицо горело, как будто невидимые лилипуты кололи его тысячами малюсеньких иголочек. Проклятый Синус! Лучше бы он выгнал меня из класса, лучше бы что угодно написал в моем дневнике, велел вызвать родителей, только бы не сажал меня за одну парту с Лидкой!

Но делать было нечего. Потный от смущения, ни на кого не глядя, уверенный, что весь класс в этот момент смотрит только на меня, я плюхнулся на Лидкину парту.

Лидка с любопытством поглядела на книгу, которую отнял у меня Синус, и, как мне показалось, в ту же секунду забыла о моем существовании.

Так мы и сидели с тех пор с Лидкой на одной парте, не обращая друг на друга никакого внимания. Я изо всех сил старался придать себе непринужденный и независимый вид. Я не отворачивался от Лидки, когда она смотрела в мою сторону. Наоборот, я время от времени сам нарочно смотрел на нее пустым, невидящим взглядом, желая показать, что никак не выделяю ее из всех: пожалуйста, могу смотреть на Синуса, могу на Левку, на Шурку Малышева, могу на доску, могу и на тебя.

Что касается Лидки, то она, по-моему, не обращала на меня внимания вполне искренне. Я бы ничуть не удивился, если бы выяснилось, что она даже не помнит моего имени.

Но она помнила, и скоро я узнал об этом.

Это случилось в тот день, когда к нам в школу привезли рояль. Его внесли трое такелажников на широких брезентовых лямках. Казалось невероятным, что такую махину могут тащить эти три невысоких, худых, на вид не очень сильных человека.

Рояль поставили в зале, где мы каждый день строились на линейку. И сразу же из зала в коридор понеслись оглушительные звуки «собачьего вальса».

Все перемены в тот день наш класс проводил около рояля. Его обступили со всех сторон, толкаясь, протискиваясь поближе, умоляюще обращаясь к Левке Островскому, силой захватившему монополию на исполнение «собачьего вальса»:

— Лёв, теперь я, дай я, а? Лёв, ну Левка же!..

Левка, вдоволь насытившись музыкой, уступил место другому счастливцу. Неумеющие играть «собачий вальс» быстро научились, и скоро я был единственным человеком из нашего класса, еще не испробовавшим новую игрушку.

Меня рояль не интересовал. Я был сыт музыкой по горло. Я пошел в зал просто потому, что туда пошли все, и потому, что туда пошла Лидка.

Я стоял ближе всех к двери, поэтому я первым



увидел бежавшего по коридору нашего школьного завхоза Мухачева.

— Это что? Это что? — еще издали начал кричать Мухачев.

Но все были так увлечены «собачьим вальсом», что его никто не слышал.

— Это что? — кричал он, вбегая в зал и проталкиваясь к роялю.— Сейчас же отсюда! Не для вас привезено!

«Собачий вальс» оборвался. Все стали нехотя расходиться. Но тут к Мухачеву подскочила Лидка.

— Как это не для нас? А для кого же?

Вот такое же лицо у нее было, когда она выступала от нашей школы на встрече испанских детей. Она сказала тогда замечательную речь, а потом расплакалась и убежала. Тогда я вместе со всеми ребятами смеялся и говорил, что с девчонками всегда так: вечно они ревут в самых неподходящих случаях. Но когда я подумал, что Лидка и сейчас, как тогда, вдруг разревется перед Мухачевым, у меня забилось сердце, будто это не она, а я кричал завхозу в лицо:

— Как это не для нас? Мы советские дети! Тут все для нас!

— Я и не говорю, что несоветские,— растерялся Мухачев.— Да ведь рояль не для того, чтоб на нем ногами играть.

Но Лидка не унималась:

— Мы не ногами. У нас есть ребята, которые по-настоящему, которые занимаются настоящей музыкой... Борис,— вдруг властно сказала она,— сыграй нам что-нибудь!..

Я даже не сразу понял, что это она мне. А когда понял, было уже поздно. Ребята расступились и пропустили меня к роялю. Левка Островский, видя мое замешательство, быстро показал мне кулак. Надо было выручать класс. Я сел за рояль и ударил по клавишам.

Я играл единственную вещь, которую умел играть без нот. Она называлась «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы». Этот веселый крестьянин представлялся мне деревянным человечком, вроде Буратино, с застывшим смеющимся ртом до ушей. Мне казалось, что ему еще больше, чем мне играть про него, надоело бесконечное число раз весело возвращаться с работы.

Я играл без нот, но страничка с нотами «Веселого крестьянина» словно стояла у меня перед глазами. Я помнил ее всю, до мельчайших подробностей, с карандашными пометками, сделанными рукой Эммы Эммануиловны: «ДСП», «ПР». Это значило: «До сих пор», «Правой рукой». Я разучивал злополучного «Крестьянина» долго, сначала правой рукой, потом левой, потом двумя руками вместе. Прошло, наверное, не меньше двух лет, пока я смог сыграть его обеими руками от начала до конца. На самом верху нотной странички, после заглавия, написанного по-старинному, с твердым знаком — «Крестьянинъ»,— немного помельче стояло два слова: «Бодро, уверенно».

Я старался играть бодро и уверенно, не забывая при этом считать про себя: «Раз-и, два-и, три-и... Раз-и, два-и, три-и...»

Когда я кончил, все посмотрели на Мухачева.

— Д-да, это музыка настоящая, не то что...— неуверенно сказал он и ушел.

Но ребята, по-видимому, не разделяли этого мнения. Подождав, пока Мухачев уйдет, меня стали просить:

— А теперь, правда, сыграй что-нибудь.

— «Три танкиста» знаешь?

— Нет, лучше «Тучи над городом встали»...

Но я не умел играть ни «Три танкиста», ни «Тучи над городом встали». Я вообще не умел играть ничего, кроме гамм, упражнений и проклятого «Веселого крестьянина, возвращающегося с работы».

Общее мнение выразила Лидка:

— Эх ты, сколько учился и ничего играть не умеешь!..

После этого позора у меня не оставалось никаких сомнений в том, что Лидка меня презирает. Еще бы! Если я и мог быть хоть чем-нибудь ей интересен, так только своим умением играть на рояле. И вот... Конечно, она должна меня презирать.

Но мысль о том, что Лидка меня презирает, не причиняла мне страданий. Я был счастлив со своими книгами. Я вполне удовлетворялся тем, что в моем воображении Лидка — она же Джоанна Седли и Катя Татаринова — восхищалась мною — Диком Шелтоном и Саней Григорьевым.

Так, наверно, я и продолжал бы жить в своем подводном царстве, если бы не один совсем пустяковый случай.

III

В «Центральном», в «Паласе», в «Востоккино» — почти во всех московских кинотеатрах шел новый звуковой художественный фильм «Остров сокровищ».

Не знаю, как сейчас, но в ту пору, когда мне и моим сверстникам было одиннадцать — двенадцать лет, каждая новая кинокартина была огромным событием в нашей жизни.

Картина шла сначала в центре, потом постепенно вытеснялась другой, переходила на окраины. Потом она совсем сходила с экрана. Но если она полюбилась нам, мы долго еще повторяли запомнившиеся нам словечки и выражения ее героев.

Ну, а когда картина забывалась совсем, оставались песни.

Песни жили долго. Сначала они были неотделимы от героев, вместе с которыми родились. Но одни герои сменялись другими, и песни начинали жить отдельной, самостоятельной жизнью. Мы пели на пионерских сборах или в лагере у костра:

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет!
Кто весел, тот смеется!
Кто хочет, тот добьется!
Кто ищет, тот всегда найдет!

Мы забыли о том, что это песенка Роберта из фильма «Дети капитана Гранта». Уже давно это была наша, пионерская песня...

Об «Острове сокровищ» в нашем классе заговорили сразу, как только фильм вышел на экран.

Первым принес весть о новой картине Димочка Полоцк.

Димочка был самым дурашливым мальчишкой в нашем классе. С тихим упрямством он изводил родителей, учителей и своих соседей по парте: дольше пяти дней рядом с ним никто не сидел. Мы хорошо знали Димочкиного отца. Он был председателем родительского комитета, мы звали его Папа-Полоцк. Папа-Полоцк был невысокий, плотный человек. Они с Димочкой были очень похожи. Только у Димочки были слегка выпуклые светлые глаза, в которых постоянно светилось сумасшедшее желание во что бы то ни стало поражать окружающих какими-нибудь неожиданными поступками. А у Папы-Полоцка глаза были маленькие, усталые и грустные.

Папа-Полоцк работал администратором в «Востоккино», и не было ничего удивительного в том, что Димочка посмотрел «Остров сокровищ» раньше нас всех. Он всегда все картины смотрел первым.

К Димочкиным отзывам о картинах мы относились с некоторым недоверием. Часто, посмотрев новый фильм, который потом надолго становился нашим любимым фильмом, Димочка говорил равнодушно:

— Картина успеха иметь не будет. Не кассовая картина...

Но на этот раз даже Димочка пришел потрясенный.

На все наши расспросы он отвечал только одним словом:

— Мировая.

Он сидел на своей парте, непривычно кроткий, никого не задевал, только когда наша географичка Татьяна Львовна озабоченно спросила:

— Что-то сегодня Полоцка не слышно, он не заболел? — Димочка скорчил пьяную рожу и заплетающимся языком произнес:

— Рому...

На другой день картину посмотрели Шурка Малышев и Левка Островский. Оба они пришли в школу совершенно ошалелые. Перед уроками Шурка повязал глаз какой-то черной тряпкой и дико носился по классу, распевая песню:

Приятель, веселей разворачивай парус!
Йо-хо-хо! Веселись, как черт!

Он явно воображал себя одноглазым пиратом Билли Бонсом.

Левка вел себя спокойнее. Он сидел неподвижно на задней парте, бессмысленно глядел в потолок и только время от времени выкрикивал тонким, дребезжащим голосом:

— Когда я служил под знаменами герцога Кумбэрлендского!..

Было ясно, что и в его мозгу продолжают жить потрясшие его образы.

Больше терпеть было невозможно.

Мы быстро собрали деньги. Но пока мы галдели и спорили, кому бежать за билетами, в класс вошел Синус — начался урок.

Пришлось ждать большой перемены.

Когда прозвенел звонок на большую перемену, все столпились около нашей парты и в один голос стали доказывать, что за билетами должна бежать Лидка.

— Ты опоздаешь, тебе все равно ничего не будет: Синус тебя любит...— убеждали ее.

Лидка идти не отказывалась. Она только сказала:

— Я бы сбегала, да мне одной не хочется. Девочки, кто со мной?

И тут неожиданно у меня вырвалось:

— Я...

— Хо, лыцарь! — паясничая, сказал Димочка Полоцк.

Не знаю, может быть, если бы не эти насмешливые слова, Лидка и не взяла бы меня себе в спутники. Но тут Лидка посмотрела на Димочку уничтожающим взглядом, взяла меня за руку и властно сказала:

— Пошли!

Сбегая по лестнице, Лидка крикнула мне:

— Мы без пальто: так быстрее!..

Я сделал вид, что это было для меня чем-то само собой разумеющимся. На самом деле я даже не представлял себе, как это в марте можно выйти на улицу без пальто.

Шел редкий мокрый снег. Он таял под ногами, превращаясь в грязно-желтую кашицу. Дворники соскребали его с тротуаров.

Проходным двором мы выбежали на улицу, и только тут Лидка заметила, что все еще держит меня за руку. Она ужасно смутилась и быстро разжала ладонь.

Я сделал вид, что ничего не заметил, но мне почему-то вдруг стало легко и радостно.

Красивая легковая машина плавно развернулась и проплыла мимо меня, почти коснувшись моего лица мокрой лакированной дверцей. Лидка быстро схватила меня за руку и оттащила в сторону:

— Сумасшедший!

Близко-близко, у самого моего лица, были ее мокрые от снега брови и большие испуганные глаза.

— Ладно, побежали, а то опоздаем! — сказал я и подумал, что Лидка сейчас снова смутится и отпустит мою руку. Но она не отпустила. Так, взявшись за руки, мы и вернулись в школу.

Затаив дыхание, с бешено колотящимися сердцами прошли мы по опустевшим, тихим коридорам и остановились у двери нашего класса.

Было ясно, что урок идет уже давно.

Я хотел сказать Лидке, что нам все равно попадет от Синуса и что уж лучше теперь дождаться конца урока. Но она, не отпуская моей руки, постучалась и смело распахнула дверь.

— Матвей Матвеич, можно? — Лидка сказала это таким невинным голосом, как будто это был не конец урока, а начало, как будто мы с ней опоздали минуты на две, не больше.

— Сазонов? Баталова? В чем дело? Где вы были? — озадаченно спросил Синус.

Я выступил вперед и хотел что-то сказать, но Лидка не дала мне и рта раскрыть.

— Матвей Матвеич, мы были у врача: у нас болела голова,— сказала она, глядя на Синуса широко открытыми, честными глазами.

Синус помолчал и, как всегда, растягивая слова, медленно сказал:

— Это было бы правдоподобно в том случае, если бы у вас и Сазонова была одна голова. Садитесь.

Класс грохнул. И хотя смеялись и надо мной, я тоже смеялся вместе со всеми. Легкое, радостное чувство, охватившее меня на улице, не проходило. Наоборот, оно еще усилилось оттого, что Синус объединил своей шуткой меня и Лидку, и оттого, что класс смеялся над нами обоими — надо мной и над нею.

Забыв о том, что я сижу на первой парте, прямо под носом у Синуса, я показал классу билеты, зажатые в кулаке, и подмигнул.

— Купили... Достали... Принесли...— прошелестело по партам.

Я был счастлив. Впервые в жизни я чувствовал себя центром всеобщего внимания. Я казался себе героем, вожаком и любимчиком класса не хуже Левки Островского или Димочки Полоцка.

В таком же приподнятом, возбужденном состоянии я вернулся из школы домой.

Открывая мне дверь, мама сказала:

— Скорее раздевайся, мой руки. У нас гости.

Гости! Будь это всего на несколько дней или даже на один только день раньше, как обрадовало бы меня это слово! Я любил, когда к нам приходили гости. Кто бы ни приходил, все равно. Сидеть за столом, накрытым шуршащей белой скатертью, и ждать, пока на тарелку тебе положат что-нибудь вкусное,— это было куда приятнее, чем самому разогревать себе обед и потом съедать его в одиночестве. Я любил пить чай вместе с гостями, слушать их веселый смех, их бесконечные, не всегда понятные взрослые разговоры. Потом я уходил за шкаф, ложился на диван и погружался в какую-нибудь книгу. На меня никто не обращал внимания. Иногда только до меня доносился приглушенный мамин голос:

— Просто не знаю, что мне делать с этим ребенком! Он буквально глотает книги...

Гости отвечали что-нибудь вроде:

— А наш-то хоть бы книгу взял в руки! Только и знает гонять на коньках целый день...

Я ждал этой неизменной фразы. Я знал, что после нее меня сразу оставят в покое, не будут спрашивать, какие у меня отметки, и не заставят заниматься ненавистной музыкой, и не погонят спать, едва только большие бронзовые часы на буфете пробьют десять.

Но на этот раз известие, что у нас гости, оставило меня глубоко равнодушным. Пообедав, я ушел к себе за шкаф, забрался с ногами на диван и стал ждать, когда часы пробьют пять: мы с ребятами договорились встретиться у кино в полшестого.

Вот часы зашипели — они всегда слегка шипели перед тем, как начать бить,— и я стал считать:

— Бом-м... бом-м... бом-м... бом!

Четыре! Еще полтора часа!

— А где Боря? — Это спросил кто-то из гостей.

Вполголоса, чтобы я не услышал, мама сказала:

— Я просто опасаюсь за его психику. Читает запоем...

«Ничего она не опасается! Ей нравится, что я читаю запоем, и нравится хвастаться этим»,— подумал я с внезапной злостью.

Я представил себе, как через полчаса часы пробьют один раз: «Бом-м!». А потом надо будет ждать еще целых полчаса, пока они пробьют пять. Кино начинается в шесть.

Мне вдруг стало невмоготу сидеть и слушать бесконечные разговоры взрослых, похожие на уже много раз слышанные разговоры родителей с другими, а может быть, и с этими же самыми гостями.

Я встал, ни на кого не глядя, прошел в коридор, снял с вешалки свое пальто и выскочил на лестницу.

Я уже был на втором этаже, когда до меня донесся мамин голос:

— Боря, ты куда?

— В кино! У нас экскурсия!

— Шарф! Не забудь надеть шарф! — крикнула мне вдогонку мама, и дверь наверху с шумом захлопнулась.

Все с тою же непонятной злостью я вынул из кармана пальто шарф, скомкал его и тут же, на лестнице, запихал за батарею.

На улице шел легкий, пушистый снежок. Он уже не таял, как утром, а, тихо и бесшумно кружась, ложился на мостовую, на тротуары, на шапки и воротники прохожих.

Под часами на Пушкинской неподвижно стоял человек, весь с ног до головы запорошенный снегом. На часах было десять минут пятого. Спешить было некуда. Я дошел до кино, постоял у кассы и тихо побрел в сторону школы. Мне почему-то стало до слез жалко себя. И вдруг — это было как чудо — я увидел Лидку. Она медленно шла мне навстречу. Шла тем же тротуаром, что и я, тем самым тротуаром, которым сегодня утром мы шли с ней вдвоем.

Увидев меня, Лидка засмеялась. Я тоже засмеялся.

— Ты чего так рано?

— А ты?

И мы снова засмеялись.

Я не помню, о чем мы говорили, слоняясь по тихим заснеженным московским переулкам. Помню только, что утреннее легкое и радостное чувство мгновенно вернулось ко мне, едва только я увидел Лидку.

Кажется, мы говорили о Синусе. О том, что он совсем не строгий, только притворяется строгим. И о том, что к нему удивительно подходит его прозвище — Синус.

— Такой длинный, худой, ну, Синус и Синус, — сказала Лидка.

— А ты знаешь, что такое синус? — спросил я.

Нет, она не знала, что такое синус, и я не знал.

— Что-нибудь математическое, вроде гипотенузы, — предположила Лидка, — только гипотенуза женщина, злая и скучная. А Синус добрый.

И мы снова засмеялись глупым счастливым смехом.

Мне казалось, что прошло совсем немного времени, что минут десять, не больше, мы вот так ходим и разговариваем о пустяках. Но когда мы подошли к кинотеатру, все ребята уже были в сборе. Они ничуть не удивились, что мы с Лидкой пришли вдвоем, и это тоже было мне почему-то приятно.

Фойе было полно народу. С трудом протиснувшись к стене, мы встали у окна. Лидка расстегнула пальто и присела на подоконник. Здесь, при ярком электрическом свете, она показалась мне совсем новой. Я сначала даже не понял, почему. А потом догадался: я привык ее видеть в лыжных брюках. А сейчас она была в платье и в туфлях. Это и делало ее новой, необычно взрослой и непохожей на себя.

Лидка сидела на подоконнике и, прищурившись, разглядывала двух девчонок, стоявших около эстрады. Это были девчонки из нашей школы, я тоже знал их. Они были старшеклассницы и не обращали на нас никакого внимания. Но Лидка разглядывала их высокомерно, каждую в отдельности, как будто она была не младше их, а старше или по крайней мере училась с ними в одном классе.

Я хотел посмеяться над тем, как Лидка корчит



из себя десятиклассницу. Но как раз в это время строгие билетерши распахнули двери в зал, и весь народ из фойе хлынул туда.

Вот ярко-белые огни люстр стали желтыми, потом красными и совсем погасли. Сладко замерло сердце, как всегда, когда предвкушаешь что-то очень хорошее. Медленно появились на экране знакомые слова: «Остров сокровищ».

IV

Я очень хорошо помню, что сначала картина совсем не понравилась мне.

Еще бы! Ведь я привык к тому, что Джим Гокинс — это я.

Это я жил в старом трактире «Адмирал Бенбоу». Это я первый увидел страшного Билли Бонса. Это я, сидя в бочке, подслушал разговор одноногого Джона Сильвера и его друзей — разговор, из которого стало ясно, что почти весь экипаж «Испаньолы» — одна пиратская шайка.

Я был юнгой Джимом. Так было всегда, сколько бы раз я ни перечитывал «Остров сокровищ» Стивенсона.

А тут, в картине, вообще не было никакого Джима Гокинса.

Все остальное было почти так же, как в книге: и старый Билли Бонс и попугай. И одноногий Сильвер был точь-в-точь таким, каким я его представлял себе. Не было только юнги Джима. Вместо него была какая-то девчонка Дженни. Она была влюблена в доктора Ливси. Она тайком от всех переоделась в мальчишеское платье и поступила юнгой на «Испаньолу». Это она сидела в бочке и подслушивала разговоры пиратов. Она, а не я.

Конечно, все это не могло понравиться мне.

Но вот Дженни осталась на корабле одна-одинешенька со старым морским волком; вот с пистолетом в зубах она лезет по вантам. Черт возьми! Эта девчонка была неплохим юнгой. Недаром ни один из пиратов, кроме проницательного Сильвера, не догадался, что она девчонка. Да, она была отличным парнем. И уж, конечно, она была похожа на Джоанну Седли и на Катю Татаринову куда больше, чем Лидка, которая с такой легкостью променяла лыжные брюки на обыкновенное девчачье платье.

Я вспомнил, как Лидка в фойе разглядывала десятиклассниц, и вдруг поймал себя на мысли, что она уже не кажется мне особенной, непохожей на других девчонок.

Но тут же я снова забыл про Лидку. События на экране разворачивались стремительно. В бою с пиратами ранили доктора Ливси. Ничего подобного в книге не было, но теперь мне было на это наплевать. Ранили доктора Ливси, из-за которого девушка Дженни стала юнгой Джимом.

Дженни пела песню:

Я на подвиг тебя провожала,
Над страною гремела гроза.
Я тебя провожала,
Но слезы сдержала,
И были сухими глаза...

...С того дня прошло много лет. Много разных событий случилось за это время в моей жизни. Я успел полюбить музыку. Я прочел множество чудесных стихов. Но никакая музыка, никакие стихи никогда в жизни не волновали меня так, как тогда взволновала эта простая песенка.

Я не представлял себе, что доктор Ливси — это я. Я был юнгой Джимом и не мог быть никем другим. А раз юнги Джима в картине не было, — значит, для меня в ней уже не оставалось места. Нет, я не был доктором Ливси. Но как я завидовал ему, что у него есть такая храбрая, такая чудная девушка Дженни!..

Картина кончилась. Мы возвращались домой.

Каждый вслух переживал то, что больше всего потрясло его воображение:

— Как она его из пистолета...

— Нет, как этот подошел к нему и р-раз!..

Лидка сказала:

— А по-моему, глупо. Уж если кино называется «Остров сокровищ», все должно быть, как в книге. Ведь правда, Боря?

Я не ответил.

Я не принимал участия в этом разговоре. Со мною творилось что-то странное. Какая-то непонятная тоска сжала мне сердце.

Первый раз в своей жизни я не хотел быть ни Диком Шелтоном, ни Саней Григорьевым, ни Джимом Гокинсом. Я хотел быть самим собой, Борькой Сазоновым. И чтобы мне, Борьке Сазонову, а не какому-то там доктору Ливси пела Дженни свою песню:

Ты в жаркое дело
Спокойно и смело
Иди, не боясь ничего.
Если ранили друга,
Сумеет подруга
Врагам отомстить за него...

На другой день утром, уходя на работу, мама сказала мне:

— Что-то ты сегодня какой-то кислый? Голова не болит? Посиди-ка денек дома. Лучше лишний час позанимаешься музыкой.

Я собрал ноты и пошел к Волковым играть домажорную гамму.

Я открыл рояль, достал ноты и поставил на пюпитр нарочно приготовленную на этот случай «Собаку Баскервилей». Шурка Малышев, который позавчера дал мне ее на два дня, уверял, что лучшей книги просто нет на свете.

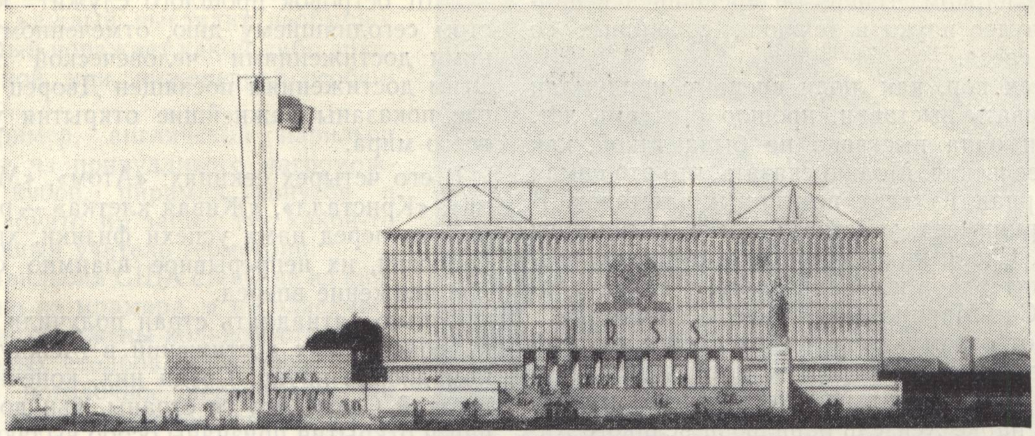
И вдруг я понял, чего мне хочется. Забыв о нотах, о «Собаке Баскервилей» и о домажорной гамме, я стал быстро-быстро одной правой рукой подбирать мелодию:

Там, где кони по трупам шагают,
Где всю землю окрасила кровь...

Я не хотел больше читать. Я хотел играть. Теперь я знал, что это значит — играть для себя.

Я беспомощно тыкал пальцами в клавиши и счастливо улыбнулся, когда из вороха беспорядочных звуков вылупилась мелодия и в пустой комнате зазвучала простая песенка Дженни:

Я в дело любое
Готова с тобою
Идти, не боясь ничего.
Если ранили друга,
Перевяжет подруга
Горячие раны его...



ЧУДЕСА ПАРКА ХЕЙЗЕЛЬ

Б. БРОДСКИЙ

Семнадцатого апреля 1958 года в Брюсселе, вернее, в семи километрах от центра города, в парке Хейзель, открылась новая Всемирная выставка. Ее девиз — «Человек и прогресс». Задача выставки — показать достижения человечества за полстолетия.

Подготовка к выставке длилась несколько лет. Тысячи строительных и монтажных рабочих трудились над сооружением павильонов. Два миллиона растений были выращены в теплицах и оранжереях.

Пятьдесят миллионов людей осмотрят Всемирную выставку за полгода ее существования; их надо принять, накормить, обслужить. Для этого построены новые гостиницы, рестораны, буфеты и стоянки автомобилей на пятнадцать тысяч машин. В трех километрах от парка Хейзель пестрят нарядные палатки туристского лагеря. Расширен аэродром, реконструированы дороги, устроены непересекающиеся перекрестки.

Прежде Хейзель был просто большим кра-

О ТУРБИНЕ-ИСПОЛИНЕ

На Всемирной выставке показана действующая модель водяной турбины Сталинградской ГЭС.

Мы попросили рассказать о турбине и о модели главного инженера Ленинградского металлического завода Петра Сергеевича Чернышева.

Вот что он рассказал:

— Все двадцать две турбины Сталинградской ГЭС строятся на нашем заводе. Так же, как и у самой ГЭС, у этих турбин нет соперниц ни по размерам, ни по мощности. На земном шаре таких турбин еще никто не строил, кроме нас.

Но в Брюссель мы послали не турбину, а ее модель. По правде сказать, мы завидуем текстильщикам, швейникам, обувщикам и автомобилестроителям. Все они могут показать свои изделия в натуре. Но сверхмощную турбину не повезешь так далеко.

Весит она почти тысячу пятьсот тонн, а высотой с десятиэтажный дом. Может быть, отправить по частям? К сожалению, и это неосуществимо. Например, втулка рабочего колеса весит восемьдесят тонн, а вал, на котором вращается колесо, — шестьдесят тонн.

Чтобы отвезти их из Ленинграда в Сталинград, пришлось построить специальные вагоны: втулка из-за своих размеров не проходила по некоторым железнодорожным мостам.

Но не думайте, что так же, как везли ее в Ленинград, можно отвезти и в Брюссель!

На пути много зарубежных стран и во всех — более узкая железнодорожная колея, чем у нас, а по ней рассчитано все, в том числе и ширина вагонов и расположение железнодорожных построек. На пути следования одной лишь втулки пришлось бы разбирать станционные платформы и водокачки.

Вот как велика наша гидротурбина! Однако представим себе на минуту, что она привезена в Брюссель. Вот ее детали разложены на территории советского павильона. Конечно, эти стальные глыбы не могут дать ясного представления о целом. Надо турбину собрать. К делу приступают монтажники. Но как ее ставить? Ведь турбина «не умеет» стоять просто так, на земле. Она, как волчок, повернута острием вниз.

На гидростанциях для нее строятся особые углубления, кратеры. В кратере турбина чувствует себя отлично. А без кратера... Короче говоря, чтобы турбина не громоздилась мертвой горой металла, чтобы она действовала, надо было не только ее привезти, но и гидростанцию с рекой в придачу.

сивым парком. Теперь он превращен в царство чудес науки и техники, собранных со всего света.

С тех пор, как люди впервые придумали устраивать выставки, прошло сто семь лет. Но ни одна выставка не была такой, как Брюссельская. Можно сказать, что это самая всемирная из всех всемирных выставок. В ней принимает участие больше пятидесяти стран. Среди них и обширные страны с разных материков и страны-крошки, как Андорра и Сан-Марино.

А вот огромная страна, население которой составляет одну четвертую часть всего населения земли, на выставке не представлена. Нет в парке Хейзель павильона великого Китая. Нет его потому, что вопреки справедливости и здравому смыслу устроители выставки подчинились требованию страны, которая стремится диктовать свою волю другим странам.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В самом сердце выставки создан удивительный островок прошлого. Узкие улицы, дома с остроконечными черепичными крышами, закопченные винные погребки, где кушанья вам подают служанки в старомодных чепцах, а музыканты в старинных нарядах играют давно забытые мелодии. «Бельгия 1900 года» называется этот уголок.

Этот островок прошлого служит контрастом сегодняшнему дню, отмеченному великими достижениями человеческой мысли. Этим достижениям посвящен Дворец науки, где показаны важнейшие открытия ученых всего мира.

В его четырех секциях: «Атом», «Молекула», «Кристалл», «Живая клетка» — раскрываются перед нами успехи физики, химии и биологии, их непрерывное взаимно связанное движение вперед.

Только пятнадцать стран получили право на показ своих достижений в Международном дворце науки. Среди них, конечно, Советский Союз. Это те страны, чьи достижения и открытия признаны особо выдающимися, оригинальными и важными для человечества.

Как символ всепобеждающей науки задуман и построенный в парке Хейзель Атомиум. Он изображает молекулу железа, увеличенную в 160 000 000 000 раз. В сто шестьдесят миллиардов раз! Молекула, которая вмещает толпы людей!

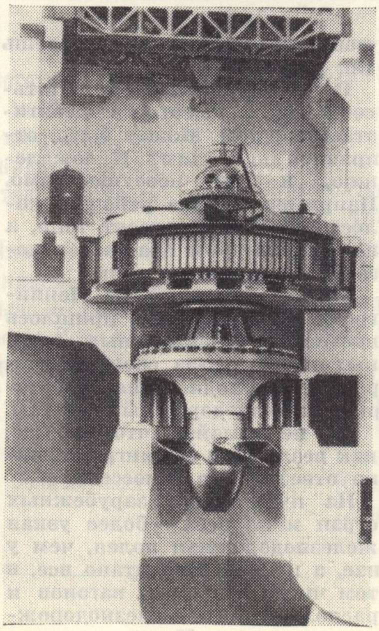
Девять шаров-атомов, каждый диаметром в восемнадцать метров, служат аудиториями. Прочно соединенные с помощью огромных труб, они высятся над деревьями парка, отражая солнечный свет и синеву неба в своих округлых металлических боках. В соединяющих шары трубах движутся эскалаторы, несущие поток людей в залы Атомиума.

Совсем не похожи друг на друга павильо-

Вот почему для выставки мы построили модель турбины. При ней дежурит инженер нашего завода. Он дает все объяснения посетителям и пускает модель в действие.

Чтобы все было хорошо видно, модель — в разрезе, поэтому она приводится в действие не водой, а электричеством. Инженеру достаточно включить штепсель. Кстати сказать, и на Волге, в машинном зале ГЭС, дежурному инженеру ненамного труднее пустить настоящую турбину. Он набирает на пульте при помощи простейших указателей приказ. Например «Держать нормальные обороты». Нажимает кнопку. Остальное выполняют автоматы.

Из Сталинградского моря вода низвергается вниз, к турбинам. К каждой турбине — семьсот кубометров в секунду, к каждой — большая, многоводная река! Заключенная в железо-



бетонный канал, она попадает в улитку турбины, где закручивается наподобие смерча. И здесь на пути воды раскрываются «ворота» перед каждой из тридцати двух лопастей рабочего колеса. Мощные струи ударяют в лопасти, и турбина начинает вращаться.

Наверху, в Сталинградском море, горизонт воды может повышаться или понижаться. Автоматы не допустят, чтобы это отразилось на работе турбины. Если воды излишек и колесу грозит опасность захлебнуться, все «ворота» по команде автоматов мгновенно сужают проходы, чтобы уменьшить поток воды. Если, наоборот, поток оскудевает, «ворота» раскрываются настежь, и турбина попрежнему сохраняет нужное число оборотов. Лопасти рабочего колеса чутки и подвижны, как рыбьи плавники. Они, как живые, изменяют свое положение

ны разных стран. Каждый по-своему красив, каждый выглядит необычно, и каждый поражает какой-либо архитектурной или инженерной особенностью.

Например, английский павильон состоит из причудливого нагромождения кубов, пирамид, конусов и призм, будто их забыл тут какой-то рассеянный учитель геометрии.

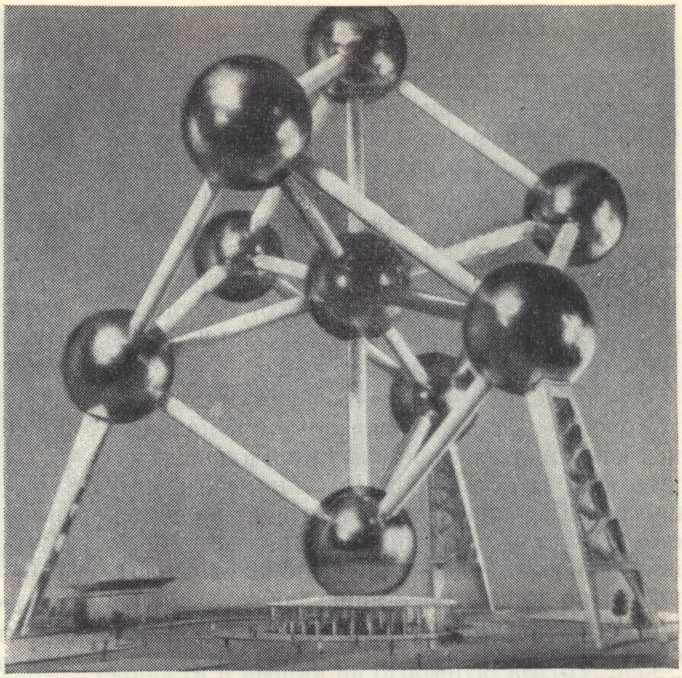
У павильона США стены не из кирпича, не из мрамора, а из пластмассы. Они окружены кольцом стальных золоченых столбов, на которые опирается потолочное перекрытие. На месте, где он построен, стояли большие деревья. Они и сейчас тут стоят, только под крышей. Американцы их не спилили, а заключили внутрь своей постройки.

Французский павильон странной, причудливой формы. Он вроде глыбы горного хрусталя или какой-то другой кристаллической породы.

Этот павильон всех удивляет тем, что он стоит на одной-единственной точке опоры, как кубарь, поставленный острием вниз. И это, правда, удивительно. Ведь кубарь не опрокидывается набок, потому что его удерживает сила вращения.

А павильон отчего не опрокидывается? Он каким образом держится?

Оказывается, французские инженеры на основе законов физики создали остроумную и строго рассчитанную систему противовесов, все время перемещающих центр тяжести здания так, что оно не может опрокинуться, даже если внутри его залов ходят с места на место посетители.



Атомиум. Молекула железа, увеличенная в сто шестьдесят миллиардов раз.

относительно водяных струй и помогают выравнивать заданную инженером мощность.

А если с пульта придет приказ увеличить ее, «ворота» и лопасти согласованно и дружно изменят свое положение. На ГЭС, кроме автоматов, управляющих работой турбин, есть автоматы-защитники. Чуть появится опасность аварии, они немедленно отсекают воду, затормаживают турбинное колесо и замыкают турбину в непроницаемой стальной камере.

Есть и автоматы, следящие за исправностью турбины, так сказать, за ее добрым здоровьем. Вся машина пронизана линиями электрической сигнализации, как живое тело пронизано нервными волокнами. На малейшую неисправность в теле турбины автоматы отзываются тревогой.

Все это узнают и увидят люди, со всего света приехавшие на Брюссельскую выставку, наблюдая работу модели и слушая объяснения инженера.

В ГЛУБИНЕ ЗЕМЛИ

Черный отполированный куб почти с двухэтажный дом. Куб словно высечен из огромной глыбы антрацита— так выглядит советский павильон угольной промышленности.

Войдя в «антрацитовый» куб, вы видите стальные решетчатые двери, за ними — ствол шахты. Вы входите в кабину-клеть, похожую на обыкновенный лифт.

Легкий толчок — и клеть начинает спуск. Мелькают уносящиеся вверх стенки ствола, навстречу дует поднимающийся из шахты поток воздуха. Цифры на светящемся щите показывают глубину: сто, двести, триста, четыреста, пятьсот метров! Клеть останавливается. Все выходят. Звонок. Клеть стремительно уносится вверх, а вы остаетесь под землей, в передовой советской шахте с новейшими механизмами. Угольный струг «А-2» режет пласт и валит отбитый уголь на стальной желоб конвейера. Похожие на ноги слона стальные стойки подпирают каменную кровлю над лавой, чтобы она не обрушилась. Взрыв, обвал, обрыв клети, то, от чего гибнут тысячи горняков в шахтах капиталистических стран, здесь невозможны.

Осмотр лавы закончен. Надо собираться в обратный путь, чтобы снова подняться с полукилометровой глубины наверх.

...Несколько ступенек. Дверь. Она распахивается — и вы попадаете... прямо в Хейзельский парк.

Оказывается, никакого ствола в полкилометра глубиной нет. И лава, и горные комбайны, и уголь—все это расположено тут

НАШ ПАВИЛЬОН

Вообразите гигантский брус из стекла и алюминия. Серебристо-белый, полупрозрачный, он производит впечатление необыкновенной легкости и воздушности, несмотря на свои величественные размеры. Высотой павильон больше семиэтажного дома, а основанием обширнее, чем футбольное поле.

И не мудрено, что он такой огромный. Ведь в нем надо было разместить экспонаты, показывающие достижения и успехи первой в мире страны социализма.

«Человек и прогресс» — девиз выставки. Хорошие машины показаны и в павильонах капиталистических стран, но в нашем павильоне надо было показать высшую форму прогресса из существующих сейчас на земле: строительство коммунизма. Нам надо было показать не только наши великолепные машины, не только блестящие победы нашей научной и технической мысли, но и государственный строй, при котором все это идет на пользу обществу, всему народу.

«Право на труд», «Право на отдых», «Право на образование», «Наука», «Культура», «Легкая промышленность», «Строительство», «Здравоохранение», «Атомы на службе человека» называются разделы советского павильона.

Едва переступив порог, вы видите по сторонам пологих ступеней две большие медные статуи, выкованные особенным способом. Эти статуи — «Рабочий» и «Колхозница» — как бы воплощают начертанный над входом текст первой статьи нашей Конституции: «СССР — государство рабочих и крестьян».

Дальше взгляду открывается полный воздуха и света главный зал. В светлой глубине его высится гигантская бронзовая статуя: Ленин, кормчий революции, основатель нашего государства.

Ленинская мысль, ленинская воля — они во всем, что собрано здесь на стендах, потому что все достижения нашей страны, все победы нашей науки, техники — результат творческого труда народа, пробужденного и раскованного революцией.

СПУТНИКИ

Над центральной частью главного зала реет громадная модель Земли, а с нею — советские искусственные спутники на своих орбитах-эллипсах. Не случайно они здесь, в главном зале, который посвящен успехам нашей социалистической промышленности.

Быстролетные спутники, протаранившие дорогу в космос,— дети высокоразвитой науки, культуры и техники. Всего несколько пятилеток назад советский народ гордился своим первым автомобилем, первым трактором, первым самолетом, первым станком. От этих побед до спутников Земли — долгий путь. И пока наша страна прошла этот путь, она в ряде областей науки и техники не только до-

---

же, за стеной вестибюля. Даже бывалый шахтер не догадается, что опустился-то он меньше чем на два метра и что уносящиеся вверх стенки ствола и ветер из шахты — все это только искусно осуществленные эффекты.

В другом разделе экспозиции, посвященной углю, показывают, как шахтеру служит вода. Гидродобыча! Струя под давлением в несколько десятков атмосфер дробит угольный пласт, мощные насосы выкачивают угольно-водяную кашу наверх.

Дальше показана подземная газификация, придуманная великим русским химиком Менделеевым. При этом способе уголь не добывают никак: ни комбайнами, ни стругами, ни гидромониторами. Его оставляют на своем месте, сжигают под землей и получают ценные горючие газы. У нас уже есть две такие шахты, а больше их нет нигде в мире!

СКОРОХОД И ВЕЗДЕХОД

Сто семьдесят километров в час, почти три километра в минуту! Такую скорость развивает легковой автомобиль марки «ЗИЛ-111».

У него восьмицилиндровый двигатель, который при своих относительно малых размерах дает мощность в двести двадцать лошадиных сил. Такой мотор может свободно везти два автобуса с людьми. На сто километров он расходует всего около девятнадцати литров бензина.

В кабине хорошо оформленная доска приборов, красивый руль, рукоятка ручного тормоза, педали тормозов, зажигания.

Но где же рычаг скорости? Его нет совсем. Водителю достаточно нажать ногой на педаль и не прекращать нажима, пока спидометр не покажет нужную скорость.



гнала, но и перегнала США, самую развитую из капиталистических стран.



На улицах Брюсселя.

Преодолевая беспримерные трудности первой пятилетки, советские люди покорили Днепр и создали Днепрогэс.

Теперь они строят целые каскады исполинских гидростанций, каждая мощностью в два — три Днепрогэса. Они создали и то, чего до них никто не создавал: электростанцию на атомном «топливе». Они спускают на воду и первый в мире атомный ледокол. Они конструируют станки-автоматы, управляемые «электронным мозгом», и станки, режущие электрической искрой вместо резцов, и станки, сверлящие звуком вместо сверла.

Огромные макеты электростанций, домен, нефтепромыслов, химических и металлургических заводов, целая армия «живых», настоящих чудо-станков выстроилась в главном зале советского павильона, и эту картину технического и научного прогресса нашей страны как бы увенчивают искусственные спутники Земли.

Советские спутники достигли космической скорости и вышли на огромную высоту, перешагнули порог Вселенной. Но и это не все. Они одержали еще одну победу, не техническую, а политическую: они сделали явными, очевидными для всех успехи нашей страны, которые в капиталистических странах либо замалчивались, либо «опровергались». Спутники летают, они видны каждому, и каждому понятно, что запустить искусственный спутник по силам только стране очень могучей, с очень передовой техникой и культурой.

Что пассажирам легковой машины мороз не угрожает, это не ново. Печки есть и в «ЗИМе», и в «Победе», и даже в «газиках»-вездеходах. Для пассажиров нового «ЗИЛа» и жара тоже не страшна.

Пусть снаружи стоит зной хоть в полсотни градусов, внутри кабины автомобиля можно устроить прохладную «погоду». Прохладу дает электроустановка вроде холодильника.

А теперь посмотрим другой автомобиль, он «уроженец» того же завода. Это «ЗИЛ-157» — грузовой вездеход. Достоинством новой марки грузового вездехода являются его необычные шины.

Как вы думаете: автомобильную шину, чтобы она не буксовала, надо накачивать туго или слабо?

Оказывается, слабо! Тогда она чуть расплющивается. В результате сцепление ее с землей становится лучше, колесо не буксует и даже может идти по неглубокому сыпучему песку.

Достоинством новой марки грузового вездехода «ЗИЛ-157» являются его необычайные шины. Они широкие, снабжены специальными трубками индивидуальной подкачки. Шофер может, не выходя из кабины, на ходу, приспускать шины, когда это нужно: при езде по болоту, по песку, по глубокому снегу. А выехав на шоссе, он снова может увеличить давление в камерах, сделать их более тугими.

Высокая проходимость обеспечивается у нового грузовика-вездехода еще и тем, что все три пары колес в автомобиле ведущие, то есть все они имеют вращение от мотора. Переднюю пару колес можно и отключить, если нужно. Такой грузовик пройдет где угодно, а это очень важно, когда столько машин работает на стройках, и в тайге, и на болотах, и в степях.

О ДЖИНАХ И МАШИНАХ

Мы попросили инженера Марка Германовича Брейдо:

— Расскажите пионерам об изобретении, которое сделала ваша группа конструкторов.

— Ребята не поверят,— смущенно ответил инженер.— Мы сделали аппарат, который управляется мыслью. Вы подумали, а он от этого пришел в действие.

— Машина, исполняющая то, о чем человек подумал? Так не бывает и в сказках. Даже джину из «Тысяча и одной ночи» надо вслух отдать приказ. Никто не поверит, пока не увидит.

— Вот, вот. А между тем главная часть нашего аппарата немногим отличается от радиоприемника.

МИЛЛИАРД КНИГ

Посетители советского павильона узнают, что СССР на первом месте в мире по печатанию книг. За один только прошлый год в Советском Союзе издано 1 200 000 000 книг. Миллиард книг! Знаете ли вы, как это много? Если миллиард книг, каждая толщиною всего в два сантиметра, вы уложите стопкой, эта стопка поднимется на высоту в двадцать четыре тысячи километров. Если вы вздумаете пересчитать все эти книги, то, затрачивая при счете по две секунды на каждую книгу, вам придется считать, не останавливаясь ни днем, ни ночью, целых семьдесят шесть лет.

Человек, только что узнавший про миллиард книг, здесь же, в павильоне, находит другую цифру, рядом с которой этот миллиард кажется еще удивительнее. Вот она, цифра: до революции сорок народностей в нашей стране совсем не имели письменности.

Миллиард книг в год — это возможно только в стране, где все любят книги, где учатся не только школьники и студенты, а и сотни тысяч взрослых.

В нашей стране после революции число научных работников увеличилось с десяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч. Студентов в СССР больше, чем в любых других странах: два миллиона! А армия учителей возросла на полтора миллиона человек!

Путешествуя среди всех этих схем, диаграмм и цифр, характеризующих народное образование в Советском Союзе, вы вдруг неожиданно наталкиваетесь на большую модель шагающего экскаватора с четырехметровой стрелой. Он двигается и работает, как настоящий.

Может быть, он здесь по ошибке? Может, он должен показывать, как у нас в СССР поставлено строительное дело? Нет. Это не ошибка. И экскаватор здесь для того, чтобы показать, как у нас поставлено народное образование. Экскаватор построили ребята, ученики ремесленных училищ. Растет она, достойная смена сегодняшним мастерам высокой техники!

ОТ СУБТРОПИКОВ ДО ПОЛЮСОВ

Одна шестая земного шара! Как показать всю огромную страну тем, кто никогда не видел ее? Как вместить ее, необозримую, величавую, в стеклянные залы?

«Увидеть — это ведь больше, чем просто узнать». Посетителям советского павильона очень многое раскрыто в таких ярких образах, которые, словно волшебством, переносят их далеко за пределы выставочных залов.

...Горбатая гора — словно медведь, который припал к воде и жадно пьет. Лениво колышутся, отливая синевой и зеленью, ла-

---

Как обычно заставляют машину выполнить то, для чего она предназначена? Ей дают сигнал: нажимают какую-либо кнопку, поворачивают ручку. Тут все ясно. А как мы заставляем двигаться руки, ноги, корпус? Это очень трудно проследить. Попробуйте объяснить: что вы делаете, чтобы пальцы вашей руки сжались в кулак?

Кончится тем, что вы скажете: «Просто захотел — и все!»

На самом деле не так уж просто. Когда человек захотел что-нибудь сказать или сделать, от его мозга по нервам быстро бегут приказы мускулам языка, рук, ног.

Приказы мозга передаются так: возбуждается группа нервных клеток в головном мозгу. Это возбуждение от клетки к клетке передается по нерву и доходит до мышцы, к которой «подключен» этот нерв. И вот сокращается или ослабляется мышца, выполняя «приказ» мозга.



Возбуждение каждой нервной клетки зависит от движения в ней мельчайших, невидимых даже в микроскоп частиц, причем эти частицы, ионы, электрически заряжены. Очень чувствительный прибор, приложенный к нерву, может показать колебания электрических зарядов в тот момент, когда по нерву бежит приказ руке: «Согнись!»

Электрические колебания заряда нервных клеток крайне слабы. Но ведь и сигналы далеких радиостанций, улавливаемые антенной радиоприемника, тоже слабы. Их усиливают радиолампы. Если сигналы, идущие от мозга по нерву, усилить, а затем подключить к нерву какой-нибудь механизм, электроимпульсы мозга могут повернуть регулятор, словом, направить действие этого механизма.

У нас в институте построен

сковые морские волны. Утренняя дымка окутывает белоснежные стены дворцов, а на усыпанной гравием площадке пионерский отряд дружно и четко делает утреннюю гимнастику.

Да ведь это Артек! Самый настоящий Артек! Где же мы: в Бельгии или в Крыму? И море, и горы, и подвижные, ловкие загорелые фигурки ребят... Только если ступишь в это блистающее, солнечное царство, сразу почувствуешь себя Гулливером. Ребята на площадке — в двадцать сантиметров ростом, а весь «Артек» — размером с тридцатиметровую комнату. Это просто очень большая диорама: сочетание живописи с рельефным изображением предметов и фигур на переднем плане.

Продолжая путешествие по павильону, мы вдруг оказываемся в Сочи, среди пальм и цветов этого города-сада, города-здравницы.

Потом перед нами горные вершины. Казбек, «как грань алмаза», сверкает вечными снегами. Кисловодск...

Так рассказывает наша выставка о праве на отдых, осуществленной статье Конституции.

Но вот от южного солнца, от ласковых черноморских волн, от горных хребтов Кавказа эскалатор уносит нас... в Арктику. Ослепительные ледяные поля, островерхие, зубастые ледяные валы — торосы. Дрейфующая станция «Северный полюс», один из многих оплотов науки, где смелые советские исследователи день ото дня открывают тайны полярных областей Земли.

Вот поселок Мирный. От Северного полюса Земли нас «перебросило» к Южному. Перед нами ледяной щит Антарктиды, материка тайн.

Мирный — «предмостное укрепление», откуда советские ученые начали штурм этих тайн.

Вот разборный домик, двойник тех, в которых живут наши исследователи Антарктиды. В нем все такое же, как и там: научная аппаратура, бытовое оборудование и даже маленькая кухонька.

ЗАЛ-ПРИГЛАШЕНИЕ

Он так прямо и называется: «Посетите Советский Союз». Здесь в остроумно смонтированных рисунках, фотографиях, рельефных картах показаны интересные места для путешествий, намечены туристские маршруты, изображены наши исторические и архитектурные памятники.

Пусть те, кто захочет увидеть нашу технику и наши курорты, наши горы и наши золотые нивы, наши комбайны, убирающие хлеб, и комбайны, вырубающие уголь, пусть приезжают к нам! Милости просим! Они увидят, что жизнь Советской страны еще величественнее, шире, интереснее, богаче, чем они могли себе представить, путешествуя по выставке.

аппарат, который должен служить людям, по несчастью лишившимся руки. Это протез, искусственная рука. Ее приводит в движение сжатый воздух, а управляется она, как обычная, живая рука, нервными сигналами, только усиленными с помощью радиоламп. Человеку достаточно захотеть — и она по его желанию сгибается.

Не подумайте, что инвалиду придется носить с собой радиоприемник и длиннющий шнур для его включения в сеть. Для усиления сигналов служат крошечные кристаллические приборчики — транзисторы, вполне заменяющие радиолампы, а для питания их достаточно батарейки карманного фонаря.

Да, но когда работает настоящая, живая рука, от нее идут обратные сигналы к мозгу, и мы *знаем*, что она делает в каждое мгновение работы. А искусственная? Человек ее не чувствует? Это неудобно, хотя и с живыми конечностями бывает так. Кому не случалось отсидеть ногу? Смотришь на нее, видишь, что она двигается, а не чувствуешь этого, словно она чужая.

Это объясняется тем, что от ноги обратно в нервную систему не поступает сигналов о выполнении приказов. Мозг командует: «Согнись!», — а вот согнулась нога или нет, он не ощущает. Кроме того, прекращаются сигналы от чувствительных клеток, сообщающие мозгу о величине усилия, о тепле и холоде.

Значит, искусственная рука может сделать неточное движение и мозг не «поправит» ее? Или она может прикоснуться к раскаленному предмету и обгореть? Поэтому в искусственную руку будут вмонтированы крошечные приборы, так называемые «датчики», посылающие в мозг по нервным проводам сигналы от чувствительных клеток о том, что происходит с рукой. И человек почувствует, как сжимаются пальцы искусственной руки, согнулась она или разогнулась, поднялась или опустилась.

Особый интерес для наших первых опытов представляет то, что нервная система человека и животных обладает поразительной способностью перестраиваться, приспособляться к новым условиям. Советский физиолог П. К. Анохин пришивал глоточный нерв собаки к ее лапе. Первое время, когда собаке щекотали лапу, она кашляла, но потом вся система перестроилась и пришла в порядок. Искусственная рука не обязательно будет служить только инвалиду. Если вам в работе не хватит ваших двух рук, пожалуйста, вы сможете приладить третью, искусственную!



По этой аллее любил гулять Антон Павлович Чехов.

ЧЕХОВСКИЙ САД

Р. КАНДЕЛАКИ

Станция Лопасня. Маленькая остановка в семидесяти восьми километрах от Москвы. Выходишь из вагона электрички и полной грудью вдыхаешь тот особенный, «лопасненский» воздух с сильным запахом поля, травы, сосны, который ощутим здесь всегда, даже зимой. Мы едем в Мелихово, небольшую деревню, которая прославилась тем, что здесь в девяностых годах прошлого столетия жил, писал, работал Антон Павлович Чехов.

Антон Павлович купил Мелиховскую усадьбу в 1892 году.

Купил по объявлению в газете, заочно, даже не побывав в ней. Цена была назначена небольшая, а Чехов всю жизнь мечтал пожить в деревне.

Семья переехала в Мелихово весной. «Весна настоящая. Деревья распускаются, жарко. Поют соловьи, и кричат на разные голоса лягушки. У меня ни гроша, но я рассуждаю так: богат не тот, у кого много денег, а тот, кто имеет средства жить в роскошной обстановке, которую дает ранняя весна». (Из письма Чехова.)

Сам Антон Павлович, его родители, четыре брата и сестра Мария Павловна дружно взялись за переделку заброшенной, одичавшей земли. «...Парники засадили, засеяли сами без наемников. Весной деревья будем сажать тоже сами и огород тоже. Первое время меня всего ломало от физического труда, теперь же ничего — привык», — писал Чехов в апреле 1892 года.

Большой дом, низковатый, старый, с итальянскими окнами и террасой, оказался удобным для жилья, но не для литературной работы. Антону Павловичу нужны были уединение и тишина. И вот в отдаленном конце сада вырос маленький флигель, похожий на сказочный теремок. В одной крошечной комнатке с трудом вместилась кровать, в другой — письменный стол. Но Чехову тут хорошо работалось! Вокруг флигелька он насадил кусты сирени. Кругом буйно шумел вишневый и яблоневый сад. Весной в окна заглядывали цветущие деревья. Зимой по наметенным сугробам из леса прибегали зайцы.

Зайцы — страшно любопытный народ! Привстав на задние лапки, они заглядывали в окна флигеля. За столом работал человек, смотрел на них, щуря умные, ясные глаза, и, ласково улыбнувшись, продолжал писать.

У трудолюбивой чеховской семьи был особый дар: их «слушались» растения. Запущенный сад ожил, деревья плодоносили щедро.

Даже выезжая из Мелихова надолго (то в Москву по делам, то за границу для лечения), Антон Павлович продолжал думать о своем саде. Писал сестре Марии Павловне: «Около лилий и тюльпанов поставь палочки, а то их растопчут. У нас две лилии: одна — против твоих окон, другая — около белой розы, по дороге к нарциссам».

А вот дальше: «До моего приезда не обрезайте розы. Срежьте лишь те стебли, которые замерзли зимой или очень больны — но осторожно: имейте в виду, что больные иногда выздоравливают». В этой грустной чеховской шутке слышен намек на точившую его болезнь.

А вокруг усадьбы в те далекие годы страдала, трудилась старая русская деревня, поголовно неграмотная, погрязшая в нечистотах, бедности, болезнях. У крестьян Мелихова было даже прозвание: «сорок восемь дворов — сорок восемь нищих».

Стоило людям узнать, что новый хозяин Мелихова — врач, как в «теремок» потянулась вереница больных. Антон Павлович бросал писать, надевал халат и принимал больных.

А потом в округе послышалось страшное слово: эпидемия. В черных избах лежали скрюченные больные и умирающие люди без всякой помощи. Чехова начали вызывать теперь из соседних уездов, даже по ночам, в непогоду. Тщетно пыталась мать писателя удержать его: «Антоша, куда ты, погоди, пока погода утихнет!» Чехов, одеваясь на ходу, бросал старушке: «Дизентерия не будет ждать, мамаша!» И уезжал на всю ночь.

Одна лопасненская крестьянка рассказывала писательнице Щепкиной-Куперник: «Дохтур у нас тут такой, что и в Москве не сыщешь лучше. Уж такой желанный, такой желанный: и лечит даром и лекарство сам дает».

Этим «желанным» доктором и был Антон Павлович.



Что за хоровод устроили ребята? Это они утаптывают снег вокруг деревьев, чтобы сохранить к лету побольше влаги в саду.



Еще и еще раз осматривали ребята каждое дерево: не притаился ли где коварный шелкопряд?

С невиданной в этом заброшенном уезде энергией Чехов добивается открытия трех школ.

Он сам собрал нужные на это дело средства. Мария Павловна продавала «ради стройки» весь урожай яблок и ягод чудесного сада. «Ради стройки» разыграли в лотерею две подаренные замечательным художником Левитаном картины (пейзажи Мелихова). Чтобы удешевить строительство, Чехов сам чертил планы, сам добывал оборудование для классов, сам снабжал учителей книгами и учебниками за свой счет. И школы были построены.

Светлые, красивые, они долгие десятилетия были лучшими школами округа.

В 1898 году умер отец Чехова. Врачи требовали, чтобы Антон Павлович переехал в Крым. Мелиховская усадьба была продана.

Всего шесть лет прожил Чехов в Мелихове, но память о нем живет там и поныне.

И когда при советской власти в Мелихове открылся мемориальный музей имени Чехова, крестьяне окрестных сел стали жертвовать музею многие вещи, когда-то раздаренные Антоном Павловичем при отъезде «на память»: стенные часы, мебель, книжки. Музейные работники с любовью воссоздали чеховскую обстановку.

И в доме и в саду теперь все точно так, как было при Чехове: открыты окна, ветви сирени заглядывают в комнаты. На чеховском столе листы рукописи, исписанные изящным мелким почерком писателя. На стеклянном столике докторский молоточек, лекарства, врачебные инструменты.

А вот кругом жизнь изменилась до неузнаваемости. Мелиховский колхоз имени Чехова застроен новыми домами, в домах телевизоры, радио, библиотечки. У ребят игрушки, конструкторы, велосипеды, книги. Вместо трех школ в районе теперь пятьдесят. Многие потомки «сорока

восьми нищих» стали агрономами, врачами, инженерами, биологами.

А чеховская школа в Мелихове с виду все та же! Те же старые березы шелестят над ее высокой крышей. Мы зашли к ребятам на переменке, и они повели нас в чеховский сад.

Надя Балакина, Володя Симанов, Миша Мишин, Надя Кокшева и Боря Кабанов и еще десятки других юннатов (все имена не упишутся на этой странице) свято берегут чеховский сад, помогают работникам музея возделывать его. Весной ребята чистят дорожки, сжигают мусор, вносят удобрения. Летом поливают грядки и клумбы.

Нынешний садовник чеховского музея семнадцатилетняя Аля Баранова, бывшая юннатка мелиховской школы, повела нас по саду, показала «Уголок Франции».

Когда-то Чехов в шутку назвал так самый глухой угол усадьбы, где он посадил привезенные им из-за границы южные овощи: спаржу, кольраби, баклажаны, помидоры.

Этой весной в «Уголке Франции» посажены совсем новые, не виданные раньше здесь растения: ремонтантная земляника, перуанские томаты, итальянские томаты, виноград таежный, мексиканский перец и многое другое. Их подарил музею имени Чехова замечательный местный садовод-любитель, дедушка Сбитнев. Скоро заколосится здесь сахалинская гречиха! Когда-то Антон Павлович привез с Сахалина особую гречиху, с красивыми шелковистыми стеблями. Уехали Чеховы — и сахалинская гречиха, конечно, погибла. А теперь вновь цвести и колоситься ей на чеховской земле!

Недавно на родину Чехова, в город Таганрог, ездил племянник Антона Павловича художник Сергей Чехов. Он повстречался с пионерами таганрогской школы, той самой бывшей гимназии, где учился Чехов, рассказал им о мелиховском саде, и таганрогские ребята порешили: подарить мелиховским юннатам саженцы различных деревьев с родины Чехова. Они сами привезут их в Мелихово этим летом.

В саду на старом вязе, недалеко от флигеля, сохранилась скворечня с чеховской шуточной надписью:

ПИТЕЙНЫЙ ДОМ
БРАТЬЕВ СКВОРЦОВЫХ

Мелиховские юннаты — тоже большие друзья птиц. Сколько они понаделали скворечников и птичьих домиков! Зорко оберегают ребята гнезда малиновок, горихвосток, мухоловок, ласточек, скворцов. Пернатые помогают ребятам нести дозорную службу в чеховском саду. А дозор всегда нужен.

Прошлой осенью Чеховский район постигла беда. Пришли в мелиховскую школу люди в зеленой форме — лесничие — и сообщили тревожную новость: в районе появился непарный шелкопряд! Его яйцекладки обнаружены всюду: на деревьях, заборах, даже на садовых скамейках. Страшный это враг, он может погубить все живое зеленое царство вокруг.

Ребята не на шутку встревожились. Чеховский сад в опасности! Тотчас были организованы отряды юннатов по борьбе с непарным шелкопрядом. Прежде всего отправились в сад. Ребята отыскивали серебристые «подушечки» яйцекладок на деревьях, на столбах, даже на садовых скамейках. Мазали пораженные стволы подкрашенным керосином. (Керосин, по совету лесничих, подкрасили сажей, чтобы заметнее были больные места.)

Потом сводные отряды школ района двинулись в окрестные леса. Здесь тоже немало лип, берез и дубов оказалось поражено вредителем. Лесники провели ребят на зараженные участки, и юннаты неутомимо орудовали своими кистями до тех пор, пока не обмазали керосином все больные деревья.

Сейчас, весной, ребята еще раз тщательно проверят каждое дерево: не притаился ли где коварный шелкопряд!

Вечно будет зеленеть и плодоносить чеховский сад! Любящие руки ребят охраняют и возделывают его.



Снова в цвету вишневый чеховский сад. И во флигельке и в саду теперь все точно так, как было при Чехове.

Дом имени Карла и Розы

(Продолжение)

Наталия ЛОЙКО

Рисунки Ф. Лемкуля.

ДОМОЙ!

Сонный покой улиц еще не нарушен шумом шагов рабочего и служилого люда. Ася почти в одиночестве шлепает босыми ногами по прохладным, остывшим за ночь каменным плитам тротуара.

Минута, когда наконец на фоне легких перистых облачков показались кресты Параскевы Пятницы, придает Асе сил. Вскоре за церковью завиднеется пятницкий полицейский дом, конечно, бывший полицейский; следом — реквизированное владение бывшего князя Гагарина, а там и кирпичное здание с зелеными, то есть некогда зелеными, а теперь облезшими, заржавленными водосточными трубами; крылечко, возле которого Ася столько раз прыгала через веревочку.

За ночь сарафан Аси измялся, волосы не причесаны, но цветы, которые она несет, то прижимая букет к себе, то выставляя вперед загорелую тонкую руку, придают ее фигурке почти торжественный вид. Душистый ярко-белый жасмин предназначен в дар Варе. Уходя из детского дома, Ася сорвала в парке несколько цветущих, мокрых от росы веток и без зазрения совести прихватила с собой. В трудное военное лето цветы ценились куда меньше, чем овощи. Наркомпросовцы, наблюдая за детским домом, вовсе не интересовались клумбами и цветущим кустарником, зато, не щадя своих наркомпросовских сил, раздобывали семена и рассаду для грядок, вскопанных артелями детей. Нарвать цветов в зарослях парка не значило нарушить конституцию.

Варя, как было известно Асе, страстно любила цветы. Когда Андрей, бог знает почему, однажды привез в лукошке с клюквой несколько пучков первых подснежников, Варя не могла на них наглядеться. Поэтому Ася и тащит ей через всю Москву пышный, пахучий букет. Пусть радуется!

Только будет ли Варя рада самой Асе, когда узнает, что та пришла навсегда, свалилась ей, можно сказать, на голову?

О чем только Ася не размышляла в пути! Более всего о доме, который она так внезапно сегодня оставила. Воображение при этом рисовало то приятные сердцу картины общего плача по ней, то ужасающую сцену общего непреклонного осуждения...

В сумятице мыслей все чаще мелькало: что же теперь будет? Что ее ждет? Снова придется целыми днями болтаться одной, дожидаясь Варю, дожидаясь глотка горячего? Не так давно, отпросившись «на побывку», Ася убедилась, до чего опустел некогда шумный, родной ей двор. Женьку и Шурку из флигеля забрали в детский коллектор; Зенушкины — трое мальчишек — в деревне, пока не кончится голодуха; ребята покойного конторщика — в Хамовниках, в детском городке; Симку — носатую ябеду — отправили в лесную школу, потому что у нее началась чахотка; Леля Глущенко — тихая, беленькая — умерла, не дождавшись конца войны...

Асе не хочется умирать. Раз большевики создали Совет защиты детей, решили во что бы то ни стало сберечь в опасное переходное время все подрастающее поколение, зачем Асе умирать?!

Не совершила ли она сегодня глупость, страшную глупость? Задав себе этот вопрос, Ася горестно опустилась на первое подвернувшееся крыльцо, на запыленные ступеньки.

Назад пути нет. Слово н а в с е г д а выведено крупными буквами.

Господи, и дернуло же Асю поверить россказням Нюши — первой выдумщицы во всем мире! Из-за этой Нюшки все и пошло кувырком, да еще простыни затесались... Как Ксении не рассердиться! Велено было Асе идти в дортуар? Велено! Запрещено идти к Шашкиной? Запрещено.

Кто же пустит такую обратно? Вечером устроила переполох, утром переполох. Разве можно взять такую девчонку в колонию, где требуется чистота коллектива, где каждое место на вес золота? Если Асю и оставят в детдоме, все равно ее вычеркнут из списка колонистов и будут все лето дразнить...

В задумчивости Ася берет под мышку букет, словно это веник, без которого жители Замоскворечья, бывало, не мыслили настоящей баньки. Белые нежные цветы смялись, но Ася этого не замечает. Она думает-гадает, как ей быть.

Действительно, как быть? Не очень-то хочется являться в детдом просто с повинной. Куда бы лучше дождаться Андрея, когда он с победой вернется в Москву. Прийти вместе с ним — гордым, пахнущим порохом...

А еще бы лучше что-то совершить самой, такое сделать, что все ребята ахнут от удивления и гордости за свою бывшую детдомовку. Но что же совершить?

Ася раздумывает, ищет выхода и наконец, как ей кажется, находит. Букет на радостях стиснут еще безжалостней. Ноги больше не требуют отдыха, а весело бегут прямо по мостовой, скачут с булыжника на булыжник. Каждому будет море по колено, если он может прожить, никому не садясь на шею да еще добившись уважения окружающих: Ксении, Феди, Кати, всего общего собрания!

Вот он, родной дом! Лестница, двери, звонок.

Первая же фраза Вари ввергла Асю в смущение:

— Умница ты моя! Захотела проститься? Да?

Варя была свежая, причесанная, в легком платье в горошек. Такой красавице не грех преподнести букет. Мало букета! Ася полезла в карман.

— Бери зажигалку. Хочешь?

Варя расцеловала Асю, касаясь ее щек влажными после умывания волосами.

— Вот ты какая... Недоспала, ног не пожалела...

Хорошо, что в полутьме прихожей не видно, как ты краснеешь. Что может быть неприятней похвалы, которую не заслужил! Ну ничего... Сначала Ася выложит Варе свой план, а затем все объяснит подробно. План-то Варя одобрит.

— Понимаешь, Варя...— начала Ася.

Но Варя крикнула:

— Степановна, я сейчас,— и, приложив к губам палец, как бы приказывая Асе помалкивать, пошла в детскую, чтобы спрятать зажигалку — память об Андрее.

Ася насторожилась. Кто же тут еще, кроме Вари?

— Наша. Фабричная,— шепнула Варя и пригласила Асю в общую комнату.

Эта большая комната служила семье Овчинниковых столовой и гостиной, но, когда не стало дров, превратилась в комнату для всего и для всех — в единственную отапливаемую в квартире комнату, отличающуюся от остальных помещений черным потолком, к которому была проволокой подвязана круглая жестяная труба.

Степановна совсем не походила на маминых подруг, собиравшихся в былые времена вокруг дубового обеденного стола, который, кстати сказать, Варя превратила в письменный и которым незнакомая женщина пользовалась как своим.

Отложив в сторону карандаш, Степановна недоумевающе уставилась на Асю, словно желая понять, по какому праву эта неизвестная босая девочка пришла мешать ее занятиям. Она, как сообразила Ася, училась вместе с Варей в школе взрослых и дорожила, по-видимому, каждой минутой.

Степановна выглядела много старше Вари, но далеко еще не была старухой. Во всяком случае, у нее были удивительно белые крепкие зубы и в волосах, в большом тяжелом узле, никакой седины. Была она тонка, узкоплеча, и если бы в ее темной холстинковой кофте, закрывающей горло до самого подбородка, был по-летнему открыт ворот, слишком бы, вероятно, стали заметны ключицы. Они и так сразу обрисовались, как только Степановна откинулась на спинку стула. Обрисовались ключицы, выставились вперед небольшие, огрубевшие от работы руки. Всякий бы при взгляде на нее сказал: наработалась, натерпелась...

Асю Степановна оглядела неодобрительно, настороженно. Коротко спросила Варю:

— Она?

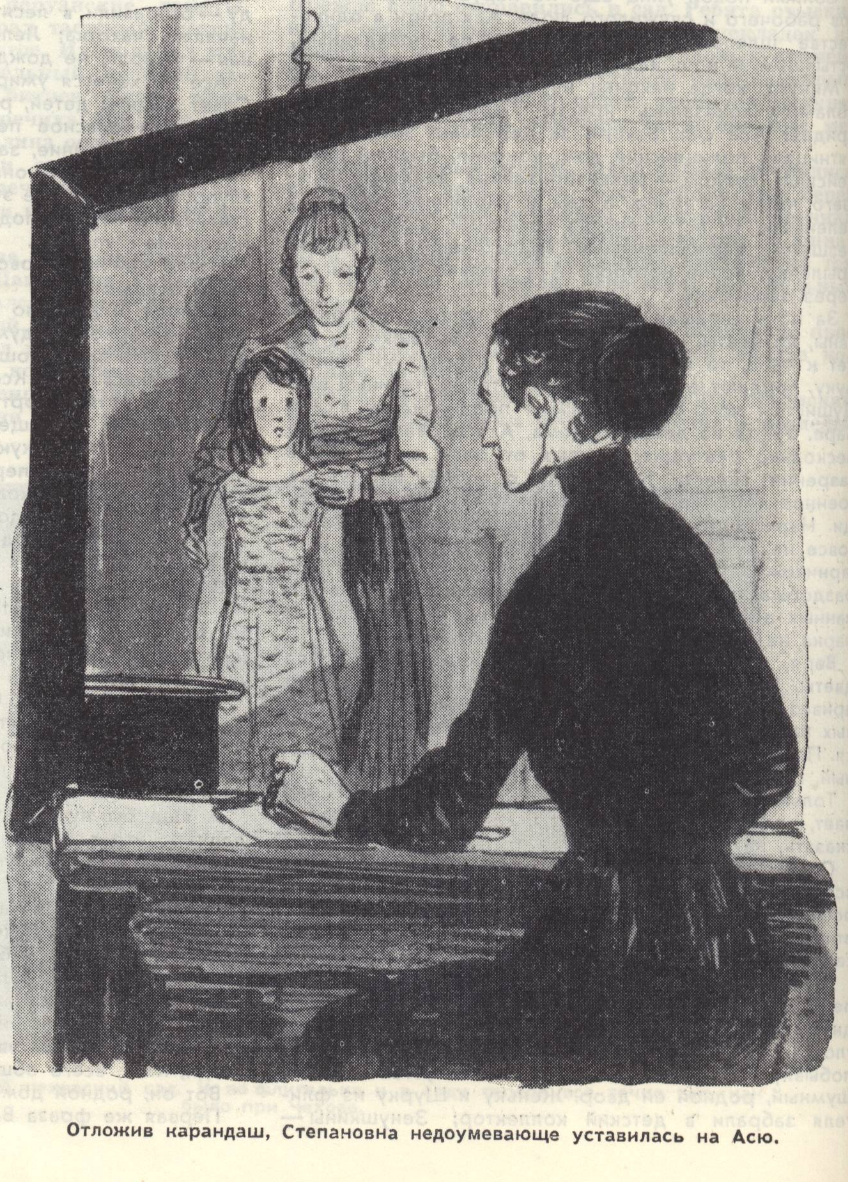
Варя все тем же виноватым тоном ответила:

— Она. Моя воспитанница.

Степановна поправила:

— Не твоя, а государственная.

Не то было странно, что женщина произнесла эти слова, а то, что она и не думала улыбаться, произнося их. Ей непременно — Ася к этому уже привыкла — полагалось одобрительно улыбнуться.



Отложив карандаш, Степановна недоумевающе уставилась на Асю.

Ася не раз слышала, что она «государственная». Когда детдомовцев — более или менее одинаково одетых, держащихся стайкой ребят — приводили в музей, на выставку, на утренник в Народный дом, они часто слышали слова «наши, государственные». Люди, говоря так, улыбались, а у детдомовцев дружно задирались носы.

Однако сейчас нос Аси, облупившийся от загара, заострившийся от худобы, не поднялся, а поник. Дело было не в суховатом тоне Вариной приятельницы, а в том, что Ася-то больше не была «государственной».

САМА ВИНОВАТА

Дружба между Варей и Степановной возникла не так давно, с той поры, как на военно-обмундировочной фабрике открылась школа взрослых. Несколько раз, отправляясь по домам после занятий, Варя и Дарья Степановна заводили долгий разговор о том, как теперь человеку следует жить.

Хлебнув в молодости горя и обид, Степановна требовала от своих товарок полного понимания того, что такое женское и классовое достоинство. Она не раз резко отзывалась о чтимом Варей семействе Овчинниковых. Не будь Андрей красноармейцем, ему бы досталось еще больше, однако и так хватало.

Поэтому-то Варя поспешила припрятать зажигалку, а войдя в комнату, засуетилась, не зная, как половчее начать общий разговор.

— Аська! — с неестественным оживлением воскликнула Варя.— Знаешь, где в цеху сидит Дарья Степановна? На месте Дедусенко! Против меня...

Варя стала рассказывать Асе, что Степановна часто ночует у нее (так и сказала: не в квартире Овчинниковых, а у нее!), что им обеим приходится готовиться к занятиям чуть ли не по ночам, ибо у них, кроме учебы, немало обязанностей, как и у всего рабочего класса. Впрочем, про весь рабочий класс вставила Степановна, недовольно оторвавшись на миг от своей самодельной тетрадки.

Ася недоумевала, что может иметь против нее эта женщина,— ведь не известно же ей, какую глупость отколола Ася нынче поутру? — и готова была разобидеться, но в Степановне проглядывало что-то такое, что сдержало Асю, даже вызвало в ней желание понравиться, заслужить одобрение.

И Ася нашла способ смягчить Степановну. Она заглянула в ее тетрадь.

— Трудный урок?

Своим вопросом Ася прежде всего хотела подчеркнуть, что ей совершенно не жалко стола, который захватили обе взрослые школьницы. Заглянув в тетрадь, испещренную цифрами, Ася поняла, что сможет блеснуть вовсю.

По распоряжению Наркомпроса всех старших детдомовцев еще зимой обучили новой метрической системе мер и весов. Кутаясь во что придется, дуя на иззябшие пальцы, дети наперегонки переводили золотники в граммы, футы и дюймы в сантиметры, придумывая хитрые задачки. Не удивительно, что Ася без ошибки выполнила задание, приводившее в отчаяние Дарью Степановну и Варю: в детском доме Ася была, можно сказать, чемпионом подсчетов по новой метрической системе.

Система эта, как объясняла детдомовцам Ксения, была интересна не только тем, что она международная, интернациональная, но и тем, что ее окончательное введение — так прямо и оговорено в декрете — намечено к первому января 1924 года. Через пять лет! Пусть все, кто предсказывает большевикам близкую гибель, призадумаются над этим. Повторив слова Ксении, Ася удостоилась наконец улыбки Степановны. И, окрыленная этой невеликой милостью, приступила к важному для себя разговору, приступила издалека.

— У нас некоторые воспитанницы... старшие девочки... здорово научились шить. Ну, не очень здорово, но выучились...

План Аси был прост. Разве у нее в руках нет ремесла? Ведь в детских домах обязательное трудовое воспитание, хочешь не хочешь, выучат. Хотя Татьяна Филипповна и помогла по ходу дела, но все же Ася почти сама сшила себе сарафан, ну, не совсем сама, но считается, что сама. Этот вот клетчатый славный сарафанчик.

Выучили Асю строчить на машинке? Выучили! Нитка почти не рвется. Вполне можно поступить к Варе в моторный цех, вместе с нею ходить на работу.

Варю такой план должен устроить. Ей не придется делиться с Асей своим пайком, Ася и так будет сыта, не умрет с голоду, как бедная Леля Глущенко, полукруглая сирота... Фабричные кормятся неплохо. Всякий раз, как Варя приносила в детский дом кусочек селедки или горстку сушеной моркови, которую Ася делила на пять частей, Варя божилась, что сама совершенно сыта, что у военно-обмундировочной фабрики богатая столовка.

— Вот послушайте...— загадочно улыбается Ася.— Наши девочки хотят к вам на фабрику. Работать... Зарабатывать... А?..

Но Варя и Степановна стаскивают Асю с небес на землю. Немало опытных швей сидит без работы оттого, что с мануфактурой беда. Узнает Ася и другое: фабричным совсем не сладко, им очень и очень туго. Варька самым бессовестным образом выдумывала про свою сытость. Иной раз она с голоду едва не валится.

Степановна без стеснения высмеяла девчонок, не понимающих своего счастья. Государство взялось их кормить четыре раза в день, трудящиеся из хлебородных губерний шлют им сухари, из далеких южных республик прибывает сухой компот.

— Знаешь, чем мы с Варькой живы? — сказала Степановна.— Получаем в обед по тарелке туманных щей, и на том спасибо.

«Туманные щи» — это внизу капустный листок, повыше вода, а сверху туман носится. «Туманные щи» — одно из словечек торфостроевцев, принесенное Варей на фабрику.

— Скажи своим дурам подружкам,— говорила Степановна,— власть наша знала, что делала, когда собрала их под одну крышу. Каждому ребенку не дашь по сажени дров...

— По кубическому метру,— поправила Варя.

— Не дашь по целому метру? А на тридцать ребят не надо тридцати. Поняла? Нет, послушайте! Государство им отрывает последнее. Ильич каждую посылку, что приходит на его имя, отсылает детским домам, каждая фабрика соображает, что уделить детям...

Эти сыплющиеся градом слова так и воспринимаются Асей, как градины, колотящие ее со всех сторон. Разве она и без того не добита? А тут еще начались расспросы насчет детского дома. Отвечай, доказывай самой себе, как славно тебе жилось до последнего дня...

Например, у тебя башмак запросил каши. Ты идешь в сапожную мастерскую, садишься, словно какой-нибудь царь, на стул, покачиваешь ногой. Пусть вчера тебе пришлось, примостившись возле Татьяны Филипповны, накладывать латку на чью-то

штанину, зато сегодня мальчишки залатают столь же крепко твой башмак.

Ася рассказывает, что детдомовцы готовят спектакль. Такой замечательный, что можно будет показывать в рабочих клубах... Еще нигде не была сыграна «История труда в России в песнях и сценах от Микулы Селяниновича до Интернационала». Федя Аршинов получил роль чудесного пахаря Микулы. Он будет точь-в-точь, как тот богатырь,— зеленые камлотовые штаны, красная рубаха с поясом и, самое главное, сумка, в которой не просто набито разное тряпье из швейной мастерской, а спрятана тяга земная, о чем он сам оповестит зрителей.

А ритмика, художественная гимнастика? Как только наступило тепло, Наркомпрос прислал образованную ритмичку, а она не посмотрела на то, что у рояля оторваны некоторые клавиши, и стала играть такие мотивы, что хотелось до вечера носиться через весь зал. Рассказывая об этом, Ася невольно вскакивает, выбрасывает руку вперед.

— Волевое упражнение на «гоп». Замереть на «гоп», подскочить на «гоп»!

Подпрыгнув, Ася замечает в углу на стуле букет. Сплюснутый, помятый, полуувядший, он вовсе не похож на тот, с которым она начала свое путешествие.

— Метла,— сконфузилась девочка.— Выбросить, что ли?

— Выбросить?! — строго переспросила Степановна и сняла с этажерки кувшин, купленный на ярмарке в Приозерске.

Набрав в кухне воды, ловко расправив каждую веточку, Степановна заставила ожить каждый цветок и задумчиво произнесла:

— Так и с людьми бывает...

Она вдруг повернула к Асе рамку с выцветшей фотографией — групповым снимком черноболотцев. Среди усатых и бородатых дядей в картузах и фуражках стоял Андрей, выделяясь своей непокрытой головой и тонкой, вытянутой, как у гусенка, шеей. Вечно он забывал застегнуть косоворотку, вечно смотрел именно так — удивленно, будто желая сказать: «Вот какая штука...»

— Вернется, а Варя не та,— сказала Степановна и вдруг напустилась на Асю:— А о взрослых думают твои девочки? Понимают, каково отрывать от себя последний кусок, отдавать последние силы? Варя, по-твоему, не в счет? Не обижайся, милая, но была бы ты дома, разве она могла бы столько учиться, ходить на лекции, на собрания? Не замечаешь, как поднимается? Нет, прежней она не будет...

Ася сидела, нахохлившись. Разве ей самой не видно, что Варя стала иной? Конечно, она поднялась. Она больше не Варька. Она Варя. Мама была не права... Может быть, впервые Ася восстает против своей матери. Ей становится жарко от мысли, что Степановна может узнать, догадаться об одном споре между Андреем и его старшей сестрой. Мама говорила тогда, что Варя не стоит Андрея, что она «совсем неинтеллигентная». Нехорошо говорила...

Разве Ася вправе помешать Варе учиться, «подниматься», как выразилась Степановна? Разве Ася не должна поступить в отношении Вари достойно и благородно?

Взрослые, казалось, забыли об Асе. Они торопливо пробегают глазами истрепанные страницы тоненькой книжки. Девочка берет в руки альбом с семейными фотографиями, устраивается возле окошка.

Много снимков в альбоме, на многие грустно глядеть... С одной из страниц улыбнулась нарядная тетя Анюта. Вот кто может помочь Асе! Вот кто ее спасет! Вспомнилось, как в пасхальное воскресенье они стояли вдвоем на площади, по-весеннему залитой водой. Тетка спешила к Казаченковым, у которых теперь какая-то детская здравница. Она даже сказала: «Если тебе, душенька, будет плохо, если станет невмоготу, я уж замолвлю словечко...»

Замолвить-то она замолвит, да лучше бы Асе «вариться в фабричном котле», а не в этой их здравнице. Но что поделаешь, сама виновата!

Ася сама виновата, ее дело — терпеть. Она захлопывает альбом, спокойно говорит Варе:

— Мне пора. Ты не волнуйся, я пойду попрощаться с тетей Анютой.

— В такую даль? — не то удивленно, не то обиженно морщится Варя.— И почему я должна волноваться? Нравится,— пожалуйста, иди.

Степановна отделывается суховатым кивком. Нравится, не нравится — Ася идет.

БЕЛЬЭТАЖ

«Золотая голова» — Василий Мироныч Алмазов полгода назад подал одной из наследниц Фомы Казаченкова, приехавшей в его особняк, мудрый совет. Новой власти, считавшей важнейшей своей задачей борьбу за жизнь детей, трудно было отказаться от возможности дополнительно подкормить хоть какое-то количество детей. Сестры Казаченковы, имея за плечами давнюю славу благотворительниц, обратились с ходатайством в нужные инстанции (Алмазов подсказал, куда и к кому следует обратиться) о разрешении открыть — целиком за счет своих ресурсов — здравницу на тридцать девочек; мальчишек ни в коем случае!

Предложить властям такой дар, как детская здравница, означало сохранить добрую славу фамилии, а вместе с нею и прекрасный, украшенный кариатидами дом. Это означало сберечь от возможных реквизиций подмосковное Фомичево — житницу здравницы, а заодно и семьи Казаченковых; означало трудиться, иметь должность. Валентина Кондратьевна стала директрисой здравницы, Олимпиада Кондратьевна — ее заместительницей. Работой надо было обзавестись хотя бы для того, чтобы не нарушать одну из заповедей нового времени: «Не трудящийся да не ест».

Совесть бывших владелиц фирмы была успокоена тем, что персонал здравницы неустанно заботился не только о телах, но и о душах вверенных ему детей. В этом Ася смогла убедиться в первые же минуты своего пребывания в здравнице.

— Ты здесь наконец вздохнешь, вернешься к нормальной жизни,— сказала тетка, вводя Асю в дом Казаченковых.— Не нервничай, душенька. Посиди, осмотрись. Я поднимусь к хозяевам, а затем, если все уладится, и тебя пригласим.

Ася осталась внизу, в комнате, которую здесь называли холлом, наедине с огромным чучелом медведя, задравшим морду к потолку, расписанному столь торжественно, что он напоминал церковный свод. Асе, уже побывавшей в этом доме на елке, холл запомнился просторным, но теперь он походил на мебельный магазин: из бельэтажа, отданного под здравницу, пришлось многое вынести. Шутка ли, разместить тридцать кроватей?

Вечерело. Окна комнаты выходили на запад. Большое трюмо пылало тревожными красками неба, полировка красного дерева светилась багрянцем. Ася, храбрившаяся весь день, тщетно пыталась и сейчас не трусить, однако, заслышав, что кто-то спускается

основана с той целью, чтобы девочки-сиротки могли после Казаченковской больницы завершить свое выздоровление. Ася же в больнице не лежала, а Казаченковым как-никак приходилось следить за соблюдением правил.

— Здесь хорошо? — в свою очередь, спросила Ася.

— Ничего. Спасибо хозяевам: белье меняют, добавки дают,— сказала одна, та, у которой на правом верхнем веке созревал ячмень.

Другая немного заикалась. У нее получилось:

— Д-да-рят по-ддарки при в-выписке.

Подарки? Ого! Хорошо бы чулки или цветные карандаши!

— Всем дарят?

Девочка с ячменем подмигнула здоровым глазом:

— Будешь уважать старших, получишь через полтора месяца. При выписке.

Ася промолчала. Неудобно было сказать, что тетка собиралась продержать ее у своих друзей не один срок.

— Ув-в-важай,— подтвердила заика.— Н-не н-нахальничай.

Обе деловито принялись развязывать свои узелки, чтобы Ася, если у нее чистые руки, потрогала новенькие подарки.

Руки у Аси были чистые; тетя Анюта снаряжала ее старательно, чтобы не стыдно было показаться на людях. Сарафанчик выстиран, выглажен, и сама вымыта с ног до головы. Можете быть покойны! Такими руками, как сейчас у Аси, можно, не нахальничая, хвататься за любой предмет. Что же лежит в узелках?



В холл вошли две девочки, долговязые и некрасивые.

по устланной ковром лестнице, съежилась, забилась в угол дивана.

В холл вошли две девочки — долговязые и некрасивые (трудно блистать красотой, если тебе двенадцать лет, ты худа, бледна, плохо одета и острижена под машинку). «Приютские»,— определила Ася, для которой слово «приютские» теперь вовсе не означало «детдомовские». Девочки, держа в руках узелки с вещами, поглядывали на лестницу, поджидая, как явствовало из их разговора, тетю Грушу, ту самую старушку в чепце, что почтительно поклонилась, впуская в дом Асину тетку и Асю.

Прихорашиваясь перед трюмо, девочки заметили отражение Аси и живо обернулись.

— Новенькая?

Ася неопределенно мотнула головой. Тетя Анюта, хотя и надеялась устроить ее сюда, все же опасалась некоторых формальностей. Здравница была

Поверх какого-то домашнего старья сияли новизной дары Казаченковых. Ася ахнула. Иконки! Пресвятые девы с младенцами, золотые нимбочки вокруг голов. И книжки. Тоже одинаковые!.. Ася полистала «Краткий молитвослов», в котором сообщалось, как оправлять лампаду, как складывать пальцы правой руки для крестного знамения, полистала «Закон божий»... «Новый завет»! Чем же он новый?

Девочки любезно вытащили из-за пазух подвешенные на одинаковых шнурочках нательные кресты и в придачу к ним крошечные овальные образки — посеребренные, с лазурью.

— Т-то-же п-подарки. Зав-видно?

В холл за Асей спустилась не тетя Анюта, а уже знакомая Асе полная, улыбчивая Василиса Антоновна. Тогда, на елке, она была еще толще и улыбалась

еще слаще. Тогда она звалась экономкой богатого дома Казаченковых, теперь заведовала скромным хозяйством здравницы.

Василиса Антоновна не сказала, а пропела:

— Милости просим, маленькая беглянка!

По ее одобрительной улыбке можно было судить, как подала Асина тетка ее бегство. Ася вовсе не просила жаловаться Казаченковым на детский дом; она ведь не жаловалась, просто сказала тетке, что ей надоело, и ничего больше. Конечно, Лапша пожаловалась не без умысла: Ася обязана была понравиться Казаченковым, разжалобить их. Асе так и было приказано:

— Ты им старайся понравиться.

Сопутствуемая ласковой экономкой, Ася поднялась на верхний этаж, куда, как сказала Василиса Антоновна, вообще-то сироток не пускали. Еще на лестнице Ася почуяла волнующий запах; она не сразу поняла, что сверху тянет ванилью, а подумала: праздником, именинами!

Внюхавшись, распознав точнее запах, девочка решила, что Казаченковым — как однажды и им, маме, Варе и Асе, сразу по трем карточкам — выдали, срезав сахарные талоны, ваниль. Дома-то все отложили для Аси — все три длинных черных стручка. В стакан кипятку опускали дольку ванильной палочки, которая, разбухнув, превращала горячую воду в душистый напиток, и девочка, прикрыв глаза, воображала, что во рту у нее ватрушки, пирожные, невесть что...

На столе у сестер Казаченковых не было пайковой ванили,— им хватало старых запасов, и не только пряностей, а и более тяжеловесных продуктов. На фарфоровом блюде с зубчатыми, словно кружевными, краями красовался румяный, пухлый крендель. Угощение было приготовлено не для Анны Ивановны, которая явилась в этот вечер нежданной гостьей, а для восседавшего перед нарядной, очень вместительной чашкой священника, такого же седовласого, как и обе хозяйки.

Тетка, раскрасневшаяся от чая, а может быть, и от трудного для нее разговора, сказала Асе каким-то особенным голосом:

— Поздоровайся, душенька... Ну... По всем правилам Анненского института. Поблагодари.

Более или менее по всем правилам, взявшись пальцами за края сарафанчика, Ася присела. Всякий раз вспоминая потом об этом покорном реверансе, она ненавидела тетку, а себя еще больше.

Ася была оглушена и подавлена. Боясь задеть что-либо из дорогих, словно выставленных напоказ вещей, заполонивших верхние комнаты с той поры, как в особняке поселились тридцать девочек, она в оцепенении опустилась на предложенный ей стул и стала жевать ломтик сдобного кренделя, почти не чувствуя его вкуса. Сигналы тетки, выразительно глянувшей на длинноволосого батюшку и на киот, сияющий драгоценной ризой, Ася восприняла не сразу, а поняв, испуганно вскочила и перекрестилась, как положено перед принятием пищи.

Угощение Асе было подано старшей из сестер. Эта седая дама в черном муаровом платье, мило поигрывая красивым, мелодичным голосом, рассказала, как встретилась у Алмазовых с Асиным дядей в час, когда господь послал ему испытание (при этом она сострадательно взглянула на Асю), и дала ему обещание (здесь уже сама Ася удивленно вскинула глаза) не оставить сиротку, если потребуется.

Слово «сиротка» заставило Асю подобрать ноги под стул; на ногах были стоптанные домашние туфли тети Анюты, привязанные к щиколоткам, чтобы не слишком шмыгали.

Вскоре Валентина Кондратьевна, переложив на Олимпиаду Кондратьевну обязанность потчевать батюшку, пригласила тетю Анюту спуститься, взглянуть на апартаменты, где будет набираться сил и приходить в себя после всех бед ее племянница. Вслед за теткой засеменила охваченная страхом и любопытством Ася.

Обстановка дома была хороша, особенно для неискушенного детского вкуса, не умеющего отличить показную роскошь от красоты, рожденной художником. Гостиная Казаченковых, где прежде ежегодно на высоченной елке зажигалось множество свечек, где вперемежку с молебнами происходили приемы купеческой — да и не только купеческой! — знати, эта шикарная гостиная стала вместилищем тридцати одинаковых кроватей.

Кровати, привезенные из Казаченковской больницы, застланные больничными одеялами, стояли ровненько, изголовье к изголовью. Ночью каждая девочка, лежащая лицом к окнам, могла видеть перед собой не только шторы, в шелку которых переливался красноватый свет лампады, но и собственное отражение, стоило лишь приподняться с подушки: в простенки между окнами были вделаны отличные зеркала. Другой ряд девочек, обращенный лицом к противоположной стене, мог хоть всю ночь любоваться отражением той же лампады в стеклах и позолоченных рамах густо навешанных картин.

На одну из картин, самую большую, тетка еще тогда, на елке, обратила внимание Аси, шепнула ей, что это грандиозное полотно создано кистью известного мастера.

На фоне цветущего, залитого солнцем сада стояли нарядные дети — мальчик и две девочки. Центром композиции был детский велосипед с огромным передним и маленькими задними колесами. Столь странный образец техники девятнадцатого столетия не был знаком сверстникам Аси; его в восьмидесятых годах Фома Казаченков выписал из Швеции для своих внуков и наследников.

Думал ли знаменитый Фома, что его внучки, две девочки в золотых, по-английски длинных локонах и светлых воздушных платьицах — такими их запечатлел художник,— в будущем, когда волосы из золотых станут белыми, а одежда, как правило, черной, вынуждены будут трудиться; не просто благодетельствовать, а трудиться, выхаживая чужих золотушных, одним своим видом вызывающих у благородных дам брезгливость девчонок? И постоянно при этом опасаться внезапного визита какого-нибудь товарища из Народного комиссариата.

На картине юная Валентина премило улыбалась, зато некрасивая, тонкогубая Олимпиада, обняв руль велосипеда, скорбно глядела в лазурное небо.

— Липочка так и не изменилась,— снисходительно заметила старшая из сестер Казаченковых.

— Да, да... Все такая же,— подтвердила Анна Ивановна.

Обе собеседницы понизили голос, заговорили о том, как трудно в столь сложное, смутное время иметь помощницей существо, не склонное заниматься мирскими делами. Ведь действительно, все повседневные заботы о телах сироток, все «мирское» пало на плечи Валентины Кондратьевны. Олимпиада Кондратьевна хлопотала лишь о детских душах.

«Забота о душах» была налицо: к изголовью каждой кровати подвешена иконка, точно такая же, что входила в набор подарков каждой ненахальной девочке. В углу спальни возвышался столик — аналой, на котором стоял трехстворчатый образ и покоилось евангелие с закладкой из сафьяновой кожи.

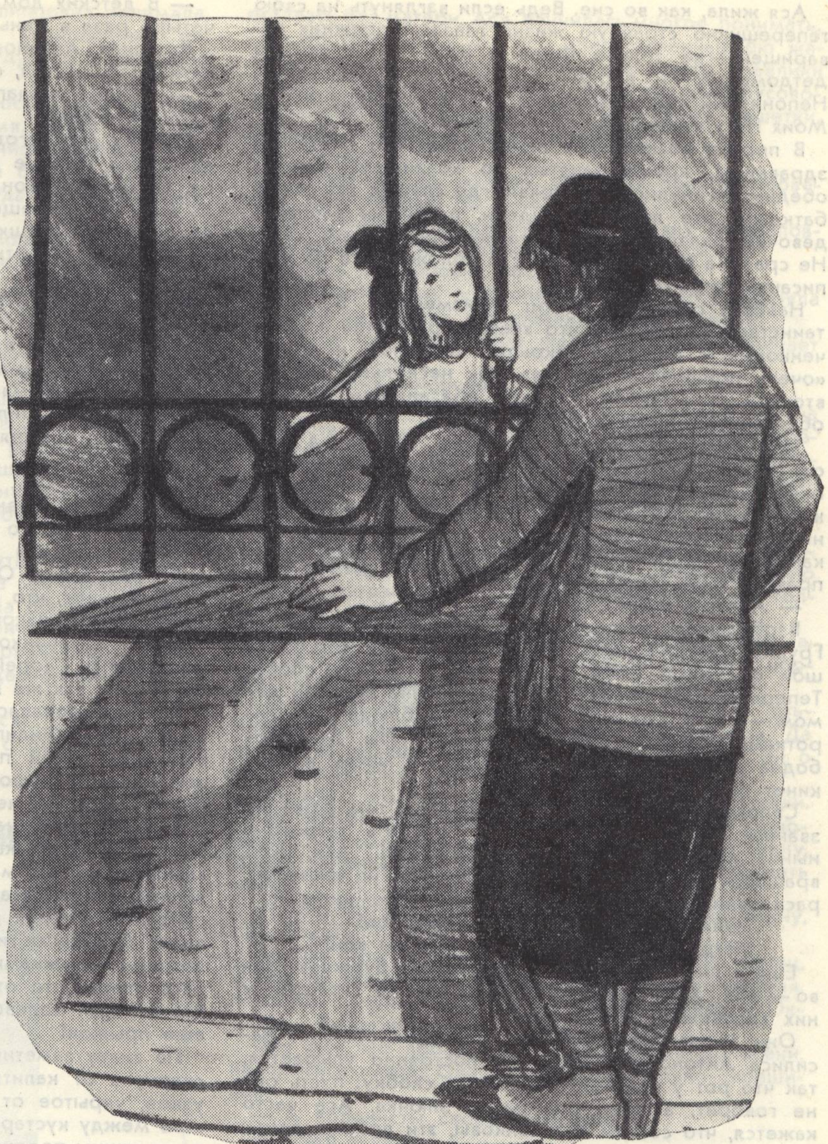
Приозерская бабушка, мать Ольги Игнатьевны и Андрея, на лето забиравшая маленькую Асю к себе, приучила ее к длинным беседам с господом богом. Сейчас Ася в смущении подумала, что давно уже не молилась. Может быть, потому на нее и свалилось столько бед!..

Окаймленное тяжелой шелковой занавесью, окно было затворено, но и сквозь двойные стекла, особенно если привстанешь на цыпочки, можно увидеть улицу. Отсюда, из бельэтажа, Асе были видны и узорная железная решетка сада, отлитая по рисунку известного архитектора, и живая изгородь, помогающая этой решетке скрывать от любопытных прохожих дом богачей, и широкая улица.

Улица жила своей жизнью. В этот предвечерний час по ней шла толпа — усталая, наверняка голодная, но не понурая, не мрачная. Многие, похоже, возвращались с субботника: кто нес на плече лопату, кто кирку, кто кусок кумача на древке. В одной группе пешеходов разгорелся спор. И, видно, горячий. Жаль, что слова не достигали сюда, за эти двойные рамы, в отодвинувшийся от тротуара, отгороженный железным и цветущим, живым заслонами дом.

Ася следила за спорщиками. Кто-то сердился, кто-то смеялся. Спор не утихал, горячий, веселый.

Вот так постоянно схватывались между собой ребята в Доме имени Карла и Розы... О чем там только не спорили! О будущем, о прошлом, о настоящем. И, конечно, о том, существует ли бог. Правда, Ася и некоторые ее подруги при этом зажмуривались, но ведь все равно слышно...



Так они и стали друг против друга, разделенные железной решеткой.

Прощаясь, тетка умоляла Асю показать себя хорошо воспитанной девочкой.

— Дурочка, тогда тебя надолго пригреют под теплым крылышком... И ты наконец вздохнешь, вернешься к нормальной жизни.

ЧЕРЕЗ РЕШЕТКУ

В тихой заводи здравницы время ползло нестерпимо медленно — от еды к еде, от молитвы к молитве.

В те минуты, когда Асе удавалось прильнуть к оконному стеклу, она с жадностью всматривалась в улицу, дополняя воображением подмеченную сценку, провожая тоскующим взглядом и одиночку-прохожего и редкий трамвай, обвешанный пассажирами. Что, кроме окна, кроме шумящего за окном кусочка улицы, связывало ее теперь с мчащейся жизнью?

Заходила на прошлой неделе тетя Анюта, снова просила Асю быть хорошей. Других посетителей, как сказала тетка, Асе ждать нечего. Еще в тот вечер, когда Ася осталась в здравнице, Варя и Татьяна Филипповна явились к Алмазовым и узнали, что Ася «устроена наилучшим образом».

И все-таки Асе казалось странным, что никто о ней больше не вспоминает, ни одна душа. А она? Ловит минуты, чтобы подбежать к окну, взглянуть на калитку в надежде, что кто-нибудь покажется, кто-нибудь из ее прошлого, еще такого близкого, но уже словно отрезанного, оставшегося за чертой вот этой чернеющей среди зелени железной решетчатой ограды. Однако никто не показывался...

Ася жила, как во сне. Ведь если взглянуть на свою теперешнюю странную жизнь глазами прежних товарищей — не только Феди и Кати, но и любого детдомовца,— и впрямь покажется: видишь сон... Непонятный сон, нехороший. Даже выдумщица Сил Моих Нету никогда не видела таких снов...

В первое воскресенье июля, когда все обитатели здравницы, кроме занятых по хозяйству, отстояв обедню, вернулись из церкви, где служил тот самый батюшка, что любил крендели, пахнущие ванилью, девочки оказались предоставленными самим себе. Не сразу, а после обеда, после положенного по расписанию отдыха.

Наверху собрались гости: неизменный батюшка, таинственная старуха, что всегда приходила к Казаченковым с большой закрытой корзиной, и другие «очень приличные господа», как несколько раз повторила тетя Груша, на чьей обязанности лежало обеспечить тишину в бельэтаже.

Тетя Груша предпочла выставить девочек в сад; одной Асе удалось остаться в спальне, посидеть у окна. Другим бы ни за что не позволили: всякий, кто без присмотра остается в комнате, может что-нибудь в ней испортить. Но Ася Овчинникова — как-никак, племянница Алмазовых. Тетя Груша поправила свой чепец и буркнула:

— А пес с тобой!.. Сиди.

Взобравшись на подоконник, Ася видела, как тетя Груша, проверив запор калитки, понесла в дом большой фигурный ключ. Стало быть, гости в сборе. Теперь старуха пойдет в сад. В глубине сада, за домом,— место для прогулок. Надо наблюдать за сиротками, которые могут поломать кусты. Ася свободна до ужина. Она не сдвинется с места, не покинет свой излюбленный пост.

Сверху голоса почти не доносятся, там даже за званым столом предпочитают говорить шепотом: нынче все буржуи должны притихнуть. Ася, возвращаясь из церкви, вычитала кое-что из листовок, расклеенных на заборе. Вычитала и запомнила:

«Очистить Москву от спекулянтов!
Нетрудовые элементы из Москвы вон!»

Еще в листовках было страшное для буржуев слово — ВЧК. Хотя Казаченковым-то оно не страшно: у них здравница, они трудовые.

Они вроде даже добрые. За них злобствует Василиса Антоновна. Пусть она постоянно улыбается, так что рот у нее вечно похож на скобку; пусть она не говорит, а поет. Все равно злючка. Асе часто кажется, что сестры Казаченковы, эти добрые дамы, для того и держат возле себя толстуху, чтобы самим оставаться хорошими.

Вчера во время чая одна из сироток, такая костлявая, что все ее зовут Спица, притащила из кухни кувшин кипятку и поставила его на буфет без подставки. На дорогом дереве остался круглый след. Это нехорошо, нехозяйственно, но Спице жгло руки, и она забылась. Прося прощения, она все повторяла:

— Я забылась.

Экономка тоже забылась. Как крикнет:

— Что же, людям срамиться с таким буфетом, когда вернется прежняя власть?!

Сами Казаченковы так бы не крикнули.

Толстой Василисе можно забываться, а Асе не позволяют. Вот на днях перед ужином, когда Ася вместе со всеми стояла за стулом, лицом к лику Спасителя, когда она вслед за другими шептала: «Ты даешь им пищу во благовремении, отверзаешь ты щедрую руку твою»,— ей представилась другая столовая, шумная, веселая, и она возьми да брякни, лишь только все уселись за стол:

— В детских домах тоже дают во благовремении, четыре раза в день, по кухонным часам.

Василиса Антоновна, разрезавшая запеканку на пятнадцать частей, обронила нож.

— Выйди, неблагодарная! Ведь знаешь, что за едой ни слова!

Почему «неблагодарная»? Почему «за едой», если запеканка еще не роздана? Ася осталась без ужина. Олимпиада Кондратьевна не заступилась, сделала вид, что все еще шепчет молитву. Эта сестрица, похожая на лягушку, всегда присутствует при трапезе, чтобы сироткам было кого благодарить за щедрую руку.

Вспоминая это, Ася смотрит в окно. Тихо... Будто ночью. На улице почти пусто. Мужчина в соломенной шляпе тащит вязанку хвороста. И вдруг... Вдруг, словно из-под земли, выросла знакомая фигура.

Пересекая трамвайные рельсы, прямо к калитке шагала Татьяна Филипповна в своем неизменном жакете, летом заменяющем пальто, с косынкой на русой голове.

Асе показалось, что Татьяна Филипповна идет, сгорбившись, словно у нее на спине тяжесть. Но раздумывать было некогда. Ася спрыгнула с подоконника и, минуя холл, через «черную» прихожую выбежала в сад. Она кинулась было к тете Груше, да вспомнила, что сегодня не велено пускать посторонних из-за какой-то новой эпидемии в городе (когда у Казаченковых гости, в городе обязательно эпидемия!). Скорей к Татьяне Филипповне, иначе она сгинет так же внезапно, как появилась!

Ася и радовалась встрече и трусила. Неприятно, если Татьяна Филипповна возьмется за Асю по всем правилам новой педагогики, начнет разбирать ее проступки... Но вообще-то Ася согласна, чтобы разобрала, лишь бы не услышать, что слово «навсегда» действительно означает навсегда. Захотелось выложить все свои жалобы, все обиды, как когда-то выкладывала их маме. Это ничего, что калитка на запоре, можно махнуть через решетку...

Подстегиваемая нетерпением, Ася мчалась к калитке большими и, как ей казалось, необычайно ловкими прыжками. Руки то ритмично выбрасывались вперед, то откидывались назад. Раз-два-три! Раз-два-три! Волевое упражнение на «гоп»! Прыжок, еще прыжок!

По знаку заметившей ее Татьяны Филипповны Ася свернула от калитки в сторону и проскользнула в узкое, укрытое от глаз обитателей дома пространство между кустарником и оградой. Туда же со стороны улицы подошла Татьяна Филипповна, объяснив, что при странных порядках, заведенных в здравнице, лучше повидаться тайком; Варю, оказывается, два раза сюда не пустили. Погнали от калитки, и весь разговор...

Так они и встали друг против друга, разделенные железной решеткой,— Татьяна Филипповна и Ася.

— Вот ты как скачешь?! — не то удивленно, не то с облегчением сказала Татьяна Филипповна.

Но Ася, вглядевшись в пришедшую, перепугалась.

— Болели? Что с вами? Нет, правда...

— Ничего.

Девочка не случайно задала такой вопрос. Татьяна Филипповна не только сгорбилась, но в лице ее, во всем облике произошли разительные на свежий глаз перемены. Не от болезни, а от большой беды. Однако дети, по решению Татьяны Филипповны, не должны были знать о ее горе. Потому она и ответила Асе: «Ничего». А могла бы ответить: «Командир батальона Григорий Дедусенко погиб в боях за Стерлитамак».

Как и все жены, матери, дочери, проводившие на

фронт своих близких, Татьяна Филипповна понимала, что многим бойцам не суждено возвращение, но, как и все, упрямо верила в будущую счастливую встречу.

Ей и Григорию почти не пришлось пожить вместе, но впереди всегда маячило время, когда их ничто не разлучит. Она и сыну постоянно твердила: «Когда вернется папа...», «Когда мы будем втроем...». Теперь это кончено. Времена, когда они будут втроем, не настанут.

Горько Татьяне Филипповне вспоминать, как в самый канун разлуки она чуть не затеяла ссору. А ведь вина мужа была лишь в том, что, уходя в бой, он тревожился о «детском фронте» не меньше, чем о своей семье.

С той поры, как Татьяна Филипповна стала бойцом этого фронта, в ней многое изменилось. Про нее, определяя стиль ее работы, стали говорить: «Не гремит и не пылит». Жизнь в детском коллективе сдержала ее жесты, умерила размашистый шаг, отучила от скоропалительных решений.

Последние десять дней, когда она, оглушенная горем, пыталась ничем не выдать себя, налили ее спокойствием, как свинцом.

Ася была наполовину обманута этим спокойствием, но только наполовину. Ее не удивило, что Татьяна Филипповна словно забыла об Асином бегстве, не стала углубляться в его причины (кстати сказать, Ксения выдавила из себя признание, что поцапалась с этой невыдержанной девчонкой), а просто спросила:

— Так как же тебе здесь живется?

Вытянувшаяся, повзрослевшая с той поры, как осталась без матери, Ася научилась многое понимать. Она почувствовала, что все приготовленные ею жалобы, все ее маленькие горести и обиды невелики рядом с чем-то, что несла в себе высокая русоволосая женщина, стоявшая по ту сторону решетки. Девочка, в свою очередь, вымолвила:

— Ничего.

— Меня, Аська, мучило, что я не пришла проведать тебя раньше. Но я не могла.

Достаточно было взглянуть на Татьяну Филипповну, чтобы поверить: действительно не могла.

Татьяна Филипповна продолжала:

— Можно быть спокойной? Твоя тетка уверяла нас, что ты попала в исключительные условия.

Ася не позволяет себе жаловаться, она отвечает взрослым тоном:

— Условия приличные.

Татьяну Филипповну тоже не обманешь: Асина бодрость весьма сомнительна. Но ближайшее время — голодный июль девятнадцатого года — обещает быть таким трудным, что взрослые в отношении детей думают чаще всего так: выдержат ли они до осени?

— Держись, Аська,— говорит Дедусенко и, просунув между железными прутьями свою широкую ладонь, дотрагивается до загорелой, немногим толще прута детской руки.

Задолженность хлеба населению столицы росла. Москвичам недодавали даже скудной пайковой нормы. Подбирались запасы в детских домах.

— Мы на митинге были на Пресне,— говорит Татьяна Филипповна.— Я и трое наших именинников. Да ты же не знаешь?! Хоть бы спросила о Феде, он о тебе справлялся... Приняли всех троих.

Вот как... Федя о ней справлялся... Федю приняли. Он теперь член Коммунистического Союза молодежи! Ася выпрямляется, закладывает руки за спину. Федя запрезирает ее, если она будет распускать нюни.

— Так что же говорили на митинге? Про войну, про хлеб?

— Про то, что июль — самый тяжелый месяц. И про то, что за ним следует август — пора урожая. А затем, Аська, недалек и месяц победы — Октябрь... Выдержим, а?

Для Аси это прозвучало так: держись до осени, не просись назад. Она не просится, только спрашивает:

— А колонисты скоро вернутся?

— Тоже осенью.

Ага, «тоже»! Повеселев, Ася спрашивает:

— Как там Шурка?

Впервые по лицу Шуркиной матери скользнула улыбка:

— По секрету скажу: обижен. Как это Федя без него вступил в Союз молодежи!

Ася просит передать всем ребятам привет. Союзным и несоюзным.

— Набирайся сил,— говорит на прощание Татьяна Филипповна, еще раз просовывая сквозь решетку руку.— Но, пожалуйста, без твоих штук. Время слишком тяжелое, а ты не маленькая. Обещай мне, что никуда не сбежишь, не выкинешь новое коленце.

— Обещаю. Знаю, что не маленькая.

Обратно от ограды она не бежит, не подпрыгивает на «гоп», а крадется, прижимаясь к стене ненавистного дома. Главное — остаться незамеченной, главное — сохранить возможность почаще уединяться у окна, видеть перед собой вечно манящую, живущую своей жизнью улицу.

(Окончание в следующем номере.)

Отгадали?



Помните? В третьем номере «Пионера» вам, ребята, было загадано, какое тут, на фотографии, время года? Ответ дают еловые шишки. Они говорят: «Мы что, мы просто домики, из которых жильцы убежали! И все же вы не смотрите, что кругом снег, лучше гляньте на нас. Все наши чешуйки растопырились, открылись. Сыплются из-под них легкие семечки с прозрачным узеньким крылышком. Сыплются, падают на покрытый настом снег, скользят под ветром, словно парусные сани-буера. Так они и путешествуют, чтобы расселиться подальше от елочки-мамы. А бывает это ранней весной, когда много солнца, много ветра и на снегу за ночь подмерзает крепкий наст».

СПОРТ

О спортивной смекалке

А. КРАСИЛЬЩИКОВ



ДЕСЯТАЯ ДОЛЯ СЕКУНДЫ

Новичку в спорте всегда хочется поскорее добиться цели.

Тренер твердит тебе на занятиях:

— Бросай диск вполсилы. Не торопись, отрабатывай движения.

Но это кажется невозможным. Хочется тотчас же узнать, как далеко ты метнешь диск, если приложишь всю силу.

И на беговой дорожке хочется быстрее пробежать дистанцию.

Но быстро почему-то не получается.

В чем же дело? Дело чаще всего простое: ты ошибаешься и второпях не исправляешь ошибок. А они раз от разу закрепляются. Чем больше тренируешься, тем прочнее твоя неправильная техника.

Вот так было когда-то и со мной. Я старался побыстрее добиться успеха, но не думал о том, как лучше это сделать.

Для тех, кто тоже еще над этим не задумывался, я расскажу историю, которую, в свою очередь, услышал от тренера, когда из-за своей торопливости очень медленно шел к спортивным успехам.

Это история об Абрагамсе, одном из известнейших бегунов мира.

Абрагамс быстро вышел в число первых спринтеров Англии. Вышел и... остановился.

На всех состязаниях он показывал одно и то же время, как будто он уже достиг предела. Никакая тренировка ему не помогала. И Абрагамс задумался: от чего зависит скорость бега?

Скорость зависит от частоты шагов и от их длины. Частота движений у спринтеров почти предельная — это доказали физиологи. Значит, решил Абрагамс, надо увеличить шаг. Но при длинном шаге уменьшится частота, вот и выйдет одно на одно. А что, если увеличить длину шага совсем на немного, скажем, на один — два сантиметра? При прежней частоте на стометровой дистанции получится выигрыш около метра. А ведь для хорошего спринтера метр — это десятая доля секунды.

Абрагамс стал удлинять шаг. Это было нелегко. Переучиваться всегда труднее, чем научиться заново.

Перед тренировкой Абрагамс подметал дорожку. И когда он бежал, на дорожках оставались четкие следы.

Измеряя расстояние между следами, он контролировал длину своего шага. Потом Абрагамс придумал иной способ. Он размечал беговую дорожку бумажками, укладывал их так, чтобы расстояние между ними было на два сантиметра больше его обычного шага, и бежал. Если все бумажки накалывались на шипы беговых туфель, он считал тренировку удачной. Удлинив каждый свой шаг всего на два сантиметра, он пробежал сто метров на десятую долю секунды быстрее, чем раньше. И этот выигрыш во времени сделал его чемпионом всемирной Олимпиады.

ПРЫЖОК С ИСПОРЧЕННЫМ ШЕСТОМ

Ташкент — город жаркий.

Однажды туда на состязания приехали наши лучшие прыгуны с шестом Николай Озолин и Владимир Дьячков.

С вокзала они сразу отправились в гостиницу — отдохнуть перед состязаниями. Да только отдохнуть им не пришлось. Тут как раз привезли с вокзала

шесты спортсменов. Вынули они шесты из чехлов и ахнули: все шесты растрескались от жары.

Как тут быть? Ведь каждый привык прыгать со своим шестом.

Стали шесты чинить. Обвязали их на ночь мокрыми тряпками. К утру трещины сошлись. Для крепости их еще раз обмотали лейкопластырем.

К назначенному времени отправились на стадион. Смотрят, на шестах от жары выступила клейкая масса. Попробовали прыгать — не получается: шесты липнут к майке, к телу спортсмена.

А судьи уж планку установили — начинают состязания.

И тут на помощь пришло мыло. Обычное мыло, которым стирают белье. Спортсмены натерли им обмотку из пластыря, она снова стала гладкой.

Прыгуны успешно провели состязания.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ САНТИМЕТР

Наверно, ни в одном виде легкой атлетики поиски не были такими упорными, как в создании техники прыжков в высоту.

От чего зависит высота прыжка? Конечно, от прыгучести. От того, как высоко спортсмен может поднять центр тяжести своего тела в прыжке. Прыгучесть спортсмен развивает на тренировках. И все-таки она не может возрастать беспредельно.

Но там, где человек не может победить силой мышц, он побеждает силой разума.

Посмотри на эту схему. Видишь, у всех спортсменов центр тяжести на одной высоте, а прыгают они неодинаково: одни выше, а другие ниже. Почему? Потому что прыгают они разными способами. У последнего самый выгодный способ прыжка — «перекидной».

Так почему же существует несколько способов? Прыгали бы все самым выгодным. Так оно и есть. Лучшие прыгуны всегда пользуются самым выгодным способом. Они сами и придумали эти способы.

Во времена первых состязаний вообще не было твердо установившейся техники прыжка, прыгали, кто как мог. Потом появилось «перешагивание» — самый древний, самый простой и самый неэкономичный способ. Невыгоден он потому, что в момент перехода через планку центр тяжести тела спортсмена находится очень высоко над ней.

Затем придумали «волну» и «перекат». Они приблизили центр тяжести к планке. Спортсмен не «сидел на планке», как при «перешагивании», а переносил свое тело через планку лежа.

Рекорды прыгунов сразу стали выше. Но последние сантиметры высоты спортсмены «добрали», придумав «перекидной» способ. Посмотрите, как прыгает этим способом Игорь Кашкаров, призер Олимпийских игр. Он берет высоту два метра двенадцать сантиметров.

Чем выше поднимается планка, тем труднее для прыгуна одолеть каждый новый сантиметр. Недаром спортсмены называют их самыми длинными.

И тут опять на помощь приходит спортивная смекалка.

Посмотрите на фотографию. Может быть, у некоторых из вас она вызовет недоумение: на левой ноге у Кашкарова туфля с шипами, а на правой обыкновенная резиновая тапочка. В чем дело? Оказывается, шиповка помогает толчковой ноге: она дает ей надежную опору,— но она сковывает движения маховой ноги. Спортсмен боится сделать последний шаг широким, чтобы не зацепить шипами за землю.

Видите, выдумка, казалось бы, небольшая. А она позволила Кашкарову повысить рекорд.

ОШИБКА СУДЬИ

Спортивные судьи ошибаются редко, и все-таки иногда это бывает.

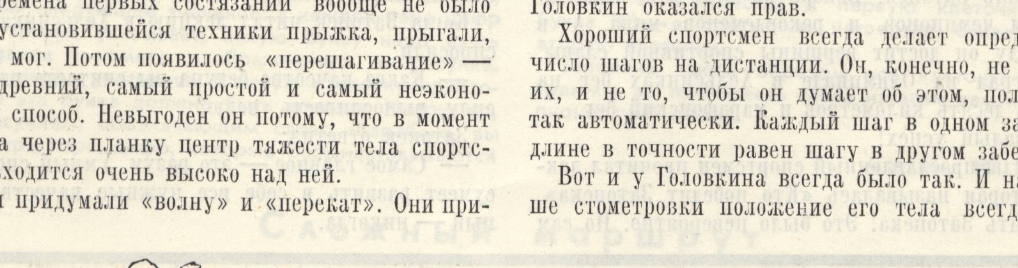
Однажды был такой случай. Петр Головкин, который был в то время чемпионом страны, участвовал в соревнованиях по бегу на сто метров. Он первый разорвал финишную ленточку. Головкина окружили друзья, его поздравляли, а он даже не взглянул ни на кого и направился к судейской вышке.

— Дистанция отмерена неверно,— сказал он старшему судье.

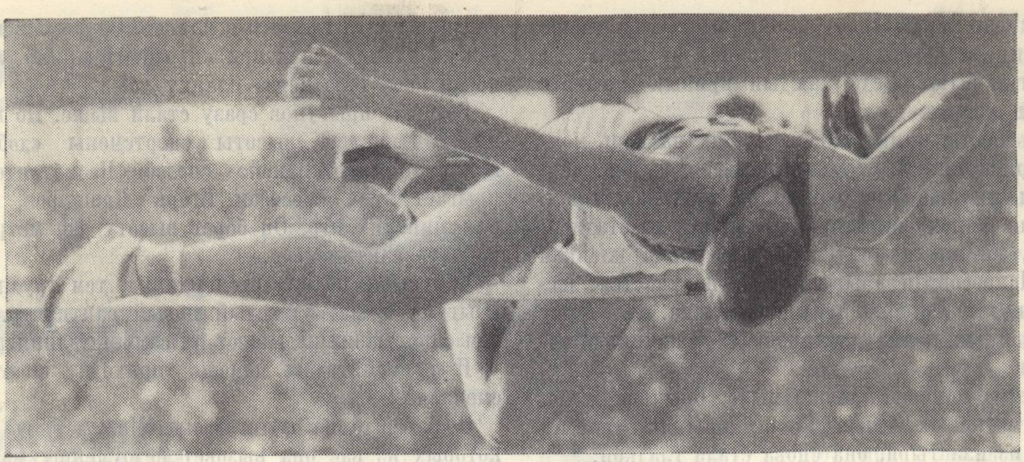
Никто не поверил Головкину. Все утверждали, что ошибки быть не может. Но Головкин настаивал, чтобы проверили дистанцию. И что же вы думаете? Головкин оказался прав.

Хороший спортсмен всегда делает определенное число шагов на дистанции. Он, конечно, не считает их, и не то, чтобы он думает об этом, получается так автоматически. Каждый шаг в одном забеге по длине в точности равен шагу в другом забеге.

Вот и у Головкина всегда было так. И на финише стометровки положение его тела всегда было



На этой схеме показано несколько способов прыжков в высоту: «перешагивание», «волна», «перекат» и «перекидной». Нетрудно понять, какой из них выгодней.



Вот так прыгает Игорь Кашкаров.

одним и тем же. А на этот раз положение у финиша было другим.

Конечно, не всякий обратит на это внимание, но хороший, мыслящий спортсмен сразу понял, в чем дело.

СОРЕВНОВАНИЕ ТРЕНИРОВОК

Залог спортивного успеха — в тренировке, это знает каждый. Ведь на состязаниях проявляются те качества, которые спортсмен вырабатывает на тренировках. Скажем, бегуну на длинные дистанции — стайеру — необходима и скорость и выносливость. Некоторые стайеры тренируются так: для развития выносливости они бегают на бо́льшие дистанции, чем на состязаниях, а для скорости разбивают дистанцию на несколько частей и пробегают каждую из них со скоростью, бо́льшей, чем стайерская. Долгое время чередование этих двух видов тренировок считалось самым лучшим.

Но вот после войны спортивный мир узнал новое имя: Эмиль Затопек. Вскоре он стал опасным соперником чемпионов и рекордсменов мира. А в 1952 году он достиг вершины спортивной славы. Он выиграл на Олимпиаде в Хельсинках бег на пять, на десять километров и марафонский бег.

Небывалый успех!

Однажды прославленный спортсмен прочитал лекцию, которая называлась «Кто победит Затопека».

Победить Затопека! Это было невероятно. Но сам Затопек утверждал, что победит его тот, кто сумеет победить его тренировку.

Затопек создал свою новую систему, которая получила название «переменного бега». Система Затопека давала возможность постоянно восстанавливать свои силы во время самого бега.

На тренировках Затопек делил всю дистанцию на короткие и длинные отрезки и пробегал их в различном темпе: длинные отрезки — в быстром, короткие — в более медленном. Получался бег с «переключением скоростей». Отсюда и пошло название «переменный бег». Достаточно было на состязаниях Затопеку слегка и ненадолго сбавить темп, как его организм, приученный к переменному бегу, получал «порцию отдыха». Переменный бег помогал Затопеку и в тактической борьбе. Ему легче, чем другим бегунам, удавались внезапные рывки, или спурты, как называют их бегуны.

На стадионах встречались спортсмены, тренировавшиеся по различным системам. Но неизменно победителем выходил Эмиль Затопек. Теперь лучшие бегуны мира тренируются по системе Затопека.

Когда Затопек читал лекцию в Хельсинках, его спросили:

— Какое качество бегуна вы считаете главным: силу, выносливость, волю?

Затопек ответил:

— Самое главное — это разум. Умный спортсмен сумеет развить в себе все нужные качества, глупый — никогда.

Редколлегия: Ильина Н. В. (редактор), Каверин В. А., Кассиль Л. А., Орджоникидзе В. Н. (заместитель редактора), Орлов В. И., Поддубная В. А. (ответственный секретарь), Прилежаева М. П., Сотник Ю. В., Тимофеева Г. Я., Шмаринов Д. А.

Адрес редакции: Москва, Д-47, улица «Правды», 24, комната 710, тел. Д 3-30-73.

Рукописи не возвращаются.

Художественный редактор П. Кузьмичев. Технический редактор А. Ефимова.

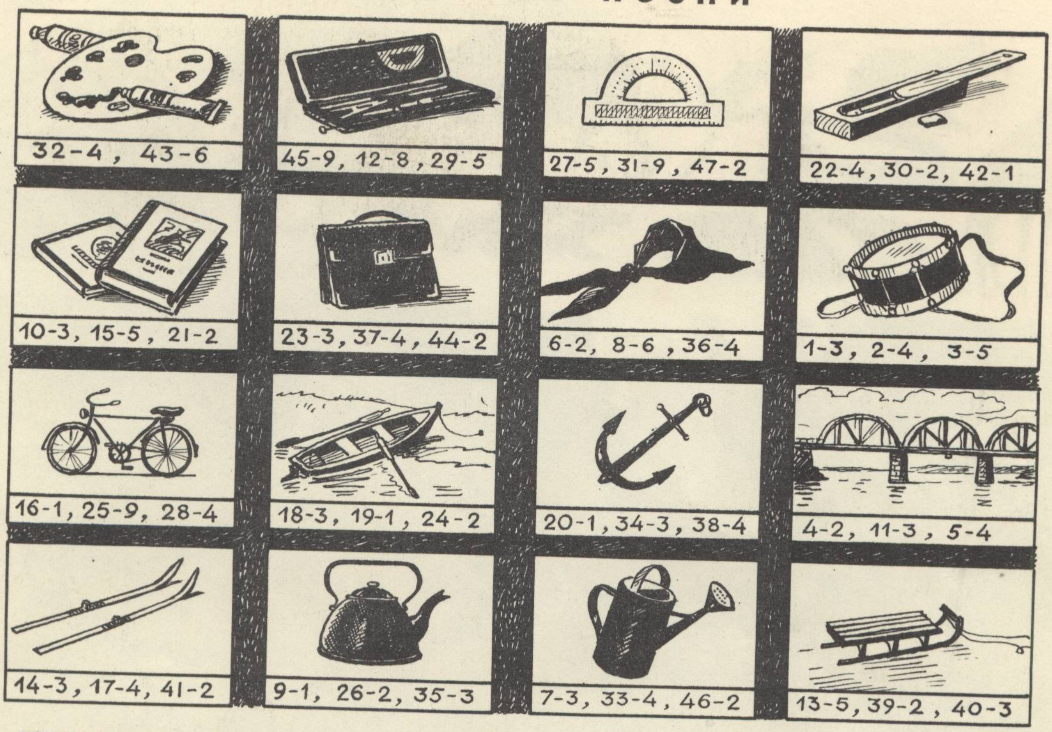
А 03531. Подписано к печати 24/IV 1958 г. Тираж 420.000 экз. Изд. № 450. Заказ № 811.

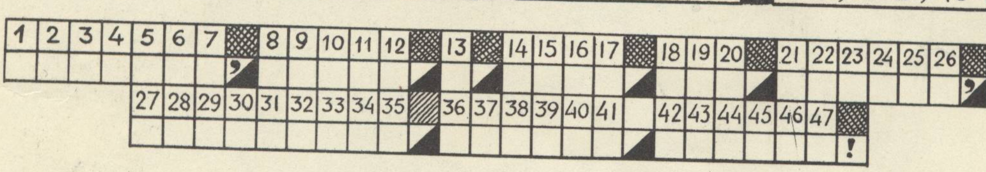
Форм. бум. 84×108 1/16. Бум. листов 2,62. Печ. листов 8,61.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.



Из какой песни





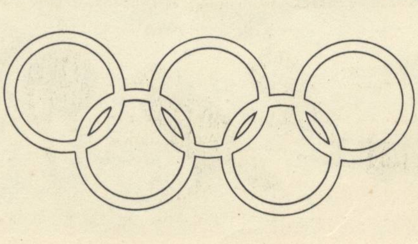
Прежде всего разберитесь в рисунках, найдите их названия. Под рисунками дан цифровой шифр, имеющий следующее значение: в каждой паре цифр вторая цифра указывает, какую букву надо взять из названия предмета, изображенного на рисунке. Первая цифра указывает, в какую клеточку криптограммы эта буква должна быть вписана. Например, под рисунком, обозначающим слово «барабан», вы видите три пары цифр, которые расшифровываются так: третья по порядку буква в слове «барабан» (р) должна быть вписана в первую клеточку, пятая буква (б) — в третью и четвертая буква (а) — во вторую клеточку.

Заполнив таким образом все клеточки криптограммы, вы прочитаете слова из всем вам известной пионерской песни.

Составил **Ю. Останин.**

Сложный маршрут

В одном из парков были устроены дорожки, внешним видом своим изображающие эмблему Олимпийских игр: пять переплетенных колец, что символизирует единение народов всех пяти частей света. Однажды посетителям парка предложили принять участие в



любопытном конкурсе: кто из них сможет обойти все кольцевые дорожки, нигде не проходя по кругу дважды и не пересекая пройденного пути? Лишь немногим удалось решить эту задачу.

Попробуйте решить ее и вы.

Составил **Я. Алексеев.**

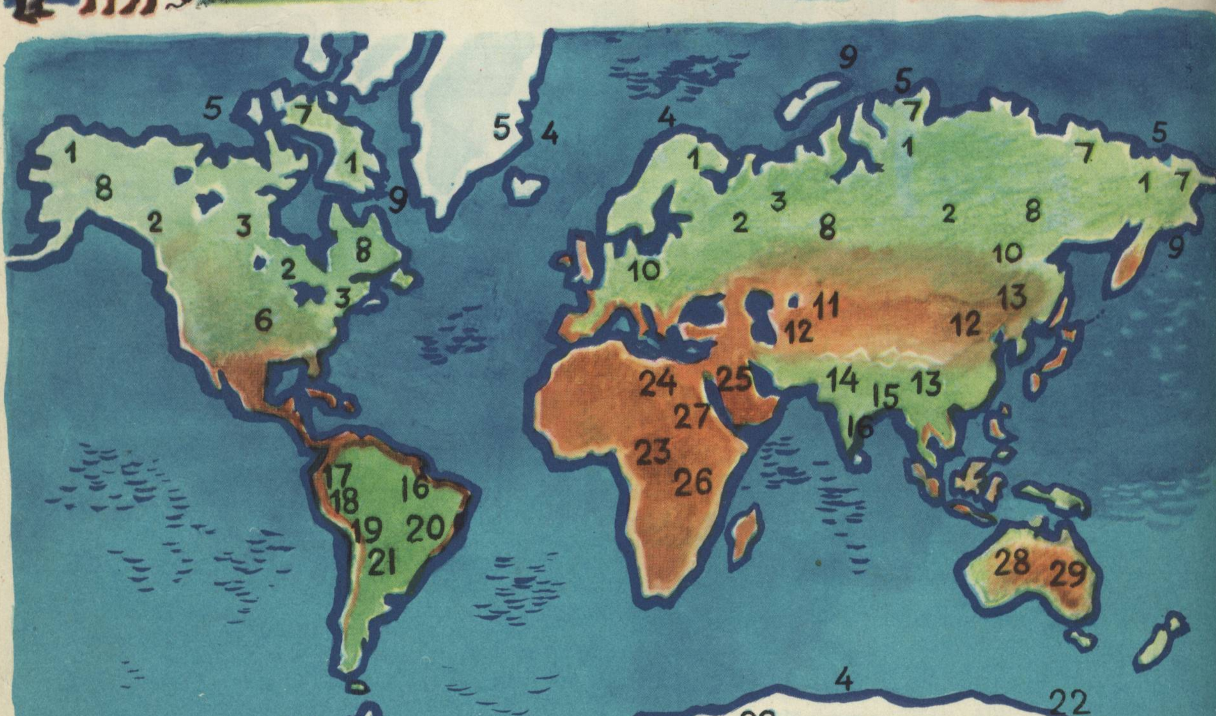
Цена 2 р. 50 к.

ПРОДОЛЖАЕМ ЗАОЧНОЕ СОСТЯЗАНИЕ

КТО ЗНАЕТ БОЛЬШЕ? КТО ОТВЕТИТ ЛУЧШЕ?

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ







На каких материках живут нарисованные здесь животные? На карте мы обозначили цифрами места обитания всех этих животных. Разберите, где кто живет, под каким номером чья «квартира».